

ТАЙНЫ

Вып. XVII - XVIII

А. Лавинцев
ЦАРИЦА ПОЛЯЧКА
ОБЕРЕГАТЕЛЬ
ТРОН И ЛЮБОВЬ
НА ЗАКАТЕ ЛЮБВИ



ИСТОРИИ

в романах, повестях и документах

Александр Иванович Красницкий

Царица-полячка

(29.08.1866 г. Москва — 16.01.1917 г. С.Петербург /с.с.) — писатель, прозаик, журналист, стихотворец. Имевший более 50 псевдонимов, но больше известен под таким как "Александр Лавров". Единственный сын художника Императорской Академии Художеств — Ивана Яковлевича Красницкого (1830 г. Москва — 29.07.1898 г. С.Петербурге. /с.с.) Ранее детство Александра прошло в имении родителей в Тверской губернии, Ржевского уезда, а затем в разъездах с отцом по Московской, Тверской, Новгородской губерниям, древности которых фотографировал отец. Самостоятельно научившись читать в 5 лет читал без разбора все, что находил в огромной отцовской библиотеке. Не прошло мимо Александра и то, что его отец воспитывался с семьей А.С. Хомякова и встречался со всеми выдающимися деятелями того времени. Иван Яковлевич был лично знаком с Гоголем, Белинским, кн. П.А. Вяземским, Аксаковым и многими др. А, будучи пионером в фотографии, и открыв в 1861 году одну из первых фотомастерских в Москве, в Пречистенском Дворце, в правом флигеле, был приглашен и фотографировал Коронацию и Помазание на Престол Александра III, за что был награжден "Коронационной медалью". В свое время Иван Яковлевич был избран членом-корреспон-

дендом общества любителей древней письменности.

Все эти встречи и дела отца отразились в дальнейшем на творчестве Александра Ивановича Красницкого. В 1883 году он написал свою первую заметку в "Петербургской газете", а вскоре стал профессиональным журналистом. Работал в "Петроградской газете" (1885), попутно в "Минуте" (редакция А.А. Соколова), "Новостях", в "Петербургской газете" был сотрудником до 1891, редактировал ежедневные газеты "Последние новости" (1907–1908), "Новый голос" (1908). В 1892 г. Александр Иванович стал сотрудником издательства "Родина" А.А. Каспари, которое находилось в С.Петербурге на Лиговской ул. д. 114. С марта 1894 г. стал помощником редактора вообще всех изданий: газеты "Родина", журналов "Родина", "Всемирная Новь", "Общественная библиотека", "Клад", "Весельчак", "Живописное обозрение всего мира". Редактировал издававшиеся А.А. Каспари газеты: "Последние Известия", "Новый голос", "Вечерний Петербург", "Новая Столичная Газета", юмористический журнал "Смех и Сатира", двухнедельный журнал "Сборник русской и иностранной литературы". Большая часть литературных работ Александра Ивановича напечатана в изданиях А.А. Каспари и в приложениях к ним, а, кроме того, многие произведения вышли отдельными изданиями у П.П. Сойкина, А.Ф. Девриена, М. Вольфа, Сытина. За весь период своего творчества Александр Иванович написал около 100 романов, многочисленное число рассказов, стихов. Им были написаны краткие биографические очерки "О Белинском", "О Пушкине", биографии и примечания к полным собраниям сочинений Пушкина, Жуковского, Гоголя, Никитина, произведениям "Герои Шекспира", "Французское нашествие 1913 г". Его книги "Петра Творение", Чудо-Вождь, "Слезы", "Маленький геркулес", "Под Русским знаменем", выдержали

несколько изданий. Пьесы "Генералиссимус Суворов" и "Ласковое телятко" с успехом шли на сцене народного дома.

29 января 1917 года, после продолжительной болезни, Александр Иванович скончался. Похоронен на Северном (3-м Парголовском) кладбище в С.Петербурге. Могила не сохранилась. 1.0 — создание файла

Содержание

#1	0008
А. Лавинцев Царица-полячка	0008
I ГАННОЧКА ГРУШЕЦКАЯ	0008
II ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ	0017
III ТАИНСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ	0024
IV НЕВЕДОМЫЙ ХОЗЯИН	0030
V НАСЛЕДСТВЕННАЯ ОБИДА	0037
VI ОТ ГНЕВА К ГНЕВУ	0044
VII ЛЕСНОЕ ЛОГОВО	0052
VIII РАЗБУШЕВАВШАЯСЯ БУРЯ	0060
IX ТЕМНЫЙ УМЫСЕЛ	0072
X СРЕДИ ЖЕНЩИН	0081
XI ЛУЧ НАДЕЖДЫ	0090
XII ТРУДНОЕ ДЕЛО	0097
XIII В ТУМАНЕ ГРЯДУЩЕГО	0102
XIV ВЫЗВОЛЕННАЯ БОЯРЫШНЯ	0110
XV В ЛЕСНОЙ ТРУЩОБЕ	0120
XVI ЗА ПОДМОГОЮ	0127
XVII ПО ЛЕСНОЙ ДОРОГЕ	0134
XVIII В ОБЪЯТИЯХ ЛЮТОЙ СМЕРТИ	0139
XIX ИЗ ОГНЯ В ПОЛЫМЯ	0145
XX УСПОКОИВШАЯСЯ БУРЯ	0150
XXI НЕОЖИДАННОЕ ЗНАКОМСТВО	0157
XXII КРОВОПРОЛИТИЕ	0165
XXIII СНОВА В ПУТИ	0172

XXIV ЗА ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ	0180
XXV ПОСЛЕ БУРИ	0188
XXVI НАРУШЕННОЕ ВЕСЕЛЬЕ	0196
XXVII ССОРА	0204
XXVIII ПОЕДИНОК	0213
XXIX ВЫРВАННАЯ ПОБЕДА	0221
XXX ОТЪЕЗД	0229
XXXI ВЫЗДОРАВЛИВАЮЩИЙ	0238
XXXII ВСТРЕЧА ПОСЛЕ РАЗЛУКИ	0246
XXXIII ПОД РОДИТЕЛЬСКИМ КРОВОМ	0255
XXXIV РАЗБИТЫЕ НАДЕЖДЫ	0267
XXXV НА МОСКВУ	0275
XXXVI ДУМЫ ЦАРЯ-ПРОФЕССИОНАЛА	0284
XXXVII ИНТРИГАНЫ СТАРЫЕ И МОЛОДЫЕ	0293
XXXVIII СЕСТРЫ-БОГАТЫРШИ И БРАТ- МЕЧТАТЕЛЬ	0302
XXXIX СЛУГА ДУШИ И ТЕЛА	0312
XL ВОРВАВШАЯСЯ ЖИЗНЬ	0322
XLI ИСТОМНАЯ НОЧЬ	0329
XLII В ВИХРЕ ЛЮБВИ	0344
XLIII СУЖЕННЫЙ	0355
XLIV НА ЦАРСКОЙ ЧРЕДЕ	0366
XLV ЖДАННЫЙ СВАТ	0377
XLVI ИСПОЛНИВШЕЕСЯ ГАДАНЬЕ	0388
XLVII БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ	0399
XLVIII ПОД ВЛАСТЬЮ ЛЮБВИ	0411



А. Лавинцев

Царица-полячка

I

ГАННОЧКА ГРУШЕЦКАЯ

Ранней неприветливой весной 1675 года по сквернейшему проселку от границы к пауку-Москве двигался боярский поезд.

Видно было, что пробиравшийся из пограничной глуши боярин был не из важных, так, захудалый какой-то, а если и не захудалый, то настолько обседевший в злосчастной и Богом, и людьми забытой мурье, что позабыл там, в своей берлоге, как живут люди на свете. Там-то, у себя, он каков с вида ни был, — всем и хорошим, и важным казался, хотя бы потому, что видней его во всей захолустной округе никого не было; но то, что было хорошо для мурьи, для подмосковских мест, всякие виды выдавших, казалось жалким, убогим и смеха достойным.

Боярская колымага была бедная, подправленная, вершники и вся прочая поездная че-

лядь рваные, чуть ли не в лохмотьях, лоша- денки тощие, чахлые, будто овса никогда не видали. Поглядеть со стороны — просто срам один.

Однако боярская челядь как будто и не со- знавала этого своего убожества. Вершники держались с наглой, вызывающей гордостью и на редких встречных проезжих так орали, требуя очистить дорогу, что у тех лошади ша- рахались с перепугу, а их седоки, с удивлени- ем взглядывая на убогий поезд, только уже на большом расстоянии догадывались пустить вдогонку ему свое нелестное замечание.

Но всякое недовольство стихало, когда из возка выглядывала на встречного проезжего головка молоденькой красавицы-девушки.

Этот неважный поезд принадлежал мос- ковскому дворянину Семену Федоровичу Гру- щецкому, внуку польского выходца, застряв- шего в Москве во время лихолетья. Его отец еще молодым человеком за какую-то дворцо- вую провинность был отослан Тишайшим на вотчину, т. е. попал в опалу. Там в глуши он и скоротал свой век, и умирая, завещал своему единственному сыну, тоже успевшему соста-

риться в отцовской опале, во что бы то ни стало восстановить блеск рода Грушецких, еще недавно, при первых Романовых, славного и знаменитого. Но, какие хлопоты ни предпринимал Семен Федорович, — все было напрасно. Вокруг Тишайшего во все время его царствования так и кипели дворцовые интриги. Даже самому государю от них несладко жилось. Бояре так и грызлись, стараясь проглотить живьем один другого, и на Москве никому не было дела до сына давно позабытого чужака. Долгие годы опалы уничтожили всякую память о нем у гордых ближних бояр, а о сыне опального старика понятно и вовсе некому было думать.

Но в конце концов Семен Федорович, должно быть, надоел своими бесчисленными челобитьями о службе царской, которые он с упорством отчаяния слал на Москву с каждой оказией. Вернее всего только ради того, чтобы как-нибудь отвязаться от надоедливого челобитчика, ему дали в управление крохотное чернавское воеводство. Впрочем в том положении, в каком был Семен Федорович после смерти своего опального родителя, и это было

хорошо.

Чернавск был хотя и захудалым городишкой, но все-таки он был ближе к Москве, чем медвежий угол на границе Литвы, где была жалованная вотчина Грушецких, и Семен Федорович, даже недолго сбираясь, тронулся на свое воеводство, полный самых радужных надежд на будущее.

Он так спешил, что отправился один, даже свою единственную дочь, красавицу Ганночку, бросил на попечение мамушек да нянюшек — Грушецкий был вдов, — и только спустя порядочное время прислал приказ и дочери, нимало не медля, ехать к нему на житье в Чернавск.

Теперь дочь ехала к отцу, и именно на Ганню-красавицу заглядывались случайные встречные, если им удавалось подловить то мгновение, когда молодая девушка выглядывала из возка, чтобы вздохнуть сырým, но чистым весенним воздухом.

И в самом деле хороша была собою Ганночка Грушецкая!

Предки-поляки передали ей типичную польскую красоту, растворившуюся в русской

крови и слившуюся с русской красотой. Тонкие, словно точеные черты лица, русский здоровый румянец полымем во всю щеку, голубые с легкой поволокой глаза, нежно-золотистые волосы, непокорно выбивавшиеся кудряшками на высокий лоб, — все это было стройно-гармонично и притягивало жадный мужской взгляд, надолго оставляя резко вливавшееся в память впечатление.

Предки-поляки дали девушке и еще кое-что.

Грушецкие были герба Любеча, но вышли на Русь не так давно, чтобы польский дух, польский склад окончательно вытравился в них. Даже Семен Федорович, бывший по внешности уже настоящим русским, нет-нет да и проявлял кое в чем себя поляком. Единственную любимую дочь он воспитывал далеко не затворницею. Да впрочем в той глуши, где ему пришлось прожить долгие годы, собственно говоря, и затворяться было не от кого.

Грушецкие у себя в поместье жили как в монастыре, часто по несколько месяцев подряд не видя никого постороннего. Может

быть, изнывая от тоски, Семен Федорович и задумал воспитывать дочь совсем не так, как обыкновенно воспитывались на Руси девушки того времени.

Он выписал для дочери из Варшавы через знакомых старуху-польку, вдову когда-то богатого шляхтича, и поручил ей воспитание Ганны. Конечно, старая полячка повела дело по-своему и воспитывала Ганночку на родной ей лад. Семен Грушецкий тут не жалел денег. В его берлоге появились не только разные книги, но даже довольно сносные клавесины, и отец очень любил, когда дочь начинала играть на них в длинные скучные осенние и зимние вечера.

Войдя в девический возраст, Ганна, благодаря воспитанию на иноземный лад, была сравнительно развитой девушкой. Она умела читать и писать, бегло говорила по-польски, разбиралась в латинских книгах, имела довольно ясное понятие о жизни на Западе и даже понимала, если при ней говорили по-французски.

Впрочем западные обычаи, вплоть до воспитания детей на новый чужеземный лад,

уже успели проникнуть тогда на старую Русь. Отнюдь не было той дичи среди русских людей, какую стараются изобразить некоторые исторические писатели, откуда-то взявшие, что допетровская старая Русь была страной каких-то дикарей. Нет, этого не было. У русских была своя самобытная культура.

Сразу после падения татарщины началось быстрое сближение России с Западом. Начиная с царя-собирателя, везде по Европе разъезжали русские посольства. Иностранцы тоже свободно проникали на Русь, но вследствие некоторой отгороженности от начинавшего и тогда уже гнить Запада русские люди могли брать оттуда только-то, что считали хорошим, и всякая западная скверна огромной волной влилась в нашу многострадальную родину только после петровской ломки русского быта.

Отнюдь не была дикаркой-затворицей и Ганна Грушецкая.

Долгий, утомительный путь несколько не нарушил ее хорошего, ровного настроения. Она, как птичка, вырвавшаяся из клетки, радовалась всему, что видела. Темные дубравы,

сквозь которые им приходилось то и дело проезжать, не пугали ее, русский простор приводил ее в восторженное настроение. Однако к концу пути Ганна начала скучать.

Во все время пути не было никаких приключений, и Ганночка уже не с прежним интересом стала относиться к нему. Она ехала в просторном, тепло обложенном войлоками возке со старухой-мамкой, и это усугубляло ее скуку. Ее воспитательница-полячка побоялась отправиться вглубь пугавшей ее Москвы, а старая мамка была такая скучная, что и говорить с ней было не о чем.

— Да посиди ты покойно, Агашенька! — досадливо говорила старушка, которую беспокоило частое выглядывание девушки из возка. — Ну, чего ты там егозишь? Или пустырей не видала? Пожалей мои косточки старые...

— Скучно мне, матушка, — жаловалась Ганночка.

— Скучно, так уснуть попробуй! Сон-то от скуки куда как полезен!.. А не то, ежели хочешь, я сказку тебе расскажу. Хочешь?

— Расскажи, мамушка...

И старуха принималась рассказывать, да-

же и не замечая, что ее сказка вовсе не интересует ее питомицу. Все сказки своей мамушки переслушала Ганночка, все начала и концы были известны ей, и если в них было что-либо хорошее для молодой девушки, так только то, что эти сказки скоро сон нагоняли...

И засыпала под мирный старушечий голос молодая красавица. Начинали ей сниться всяческие сны. А известно, что в раннюю весну жизни снится всякой молоденькой девушке. Сны тогда ярко-золотые: снятся юные красавицы, шепчущие дивные слова вечной любви! Редко когда такие грезы становятся явью, но — что же? — хорошо хотя бы только и во сне быть счастливым...

ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Ганночка, убаюканная тихим говором старухи-мамки, сладко дремала, как вдруг неприятно-резкий толчок заставил ее открыть глаза.

Возок сперва словно нырнул куда-то, потом накренился на бок и сразу замер на одном месте, как будто вкопанный. Девушка слышала кругом сердитые голоса, громкие крики, даже брань. Ржали лошади, суетились люди, и невольный страх охватил душу Ганночки.

Старуха-мамка, тоже дремавшая, мгновенно проснулась.

— Что такое приключилось-то? — далеко высунувшись из бокового отверстия возка, закричала она. — Чего стали-то?.. Волк или заяц дорогу перебежал?

— Полозье, бабушка, сломалось, — подошел к ней один из челядинцев, — вот что.

— Пришла беда нежданно-негаданно, — подтвердил слова первого другой. — И с чего

бы, кажись, ломаться ему?..

— Так чего вы спите-то, окаянные? — залилась старуха. — Не зимовать же здесь на поле... Веревками, что ли, подвязали бы...

— Да, говори еще! Подвяжешь полозье веревками, — раздались протесты.

— Так как же быть, голубчики? — смирилась мамка, чувствовавшая, что Ганночка дергает ее сзади за полы кацавейки. — Вы надумали бы там что-нибудь такое...

— А только-то и надумать можно, — подошел старший из челядинцев, — чтобы кому-нибудь из нас на деревню скакать и кузнеца приволочь, ежели запасного полозья не раздобудем!

— А мы-то как? Здесь сидеть должны?

— Придется, ничего не поделаешь!..

— Ай, мамушка! — тихо вскрикнула слышавшая весь этот разговор Ганночка. — Да неужели же среди лесу останемся?.. Страшно-то как!

— Не бойся, глупенькая, не бойся! — поспешила успокоить свою питомицу старушка, хотя и сама-то не на шутку струхнула: — Ежели и придется, так не одни будем... Вон сколь-

ко народа... Да и страшного ничего нет! Столько времени ехали, все Бог миловал, и теперь все ладно обойдется. Не пешком же тебе идти, да и то неведомо куда... А что, Гаврилка, — опять высунулась старуха из окна, — может, какая ни на есть деревня близко?

— А кто ее знает? — лениво ответил холоп. — Нам эта сторона совсем неведома... Мы здесь чужедальние...

Он медленно побрел от возка к кучке товарищей, совещавшихся на дороге впереди поезда.

— Нет, видно ничего тут иного не придумаешь, как поехать вперед, да поискать, нет ли жилья какого...

— Видно, что так, — согласились некоторые с этим мнением, — лошади поотдохнут; экую ведь путину без подставы с утра сломали...

— А есть ли какое жилье впереди-то поблизости? — любопытствовал один из кучеров. — Может, тот, кто поедет, даром проплутает только...

— Так не назад же ехать! — раздались возражения. — Впереди хоть что-нибудь, хоть из-

бенка какая ни на есть попадетя, а назад чего искать? Последнее жильё о полдень видели, почитай, верст двадцать назад переть придется, да потом опять сюда столько же...

— Вестимо вперед, — поддержал мнение большинства старший из холопов-вершников, на котором лежала вся ответственность пред Семеном Федоровичем Грушецким за благополучие в пути. — Да постой, ребята, — воскликнул он: — Вон чего-то Федюшка бежит... Колпаком машет и орет что-то... Беги, милый, беги сюда скорей!

По дороге, плохо наезженной и ухабистой, бежал подросток, действительно спешивший к старшим с какими-то вестями.

— Эй, дяденька, — кричал он, — тут опушка близко, а дальше поле идет, да такое, что глазом не окинешь...

— Ну, вона чем утешил! — недовольно проворчал старик. — С такими вестями и бежать сломя голову не стоило!

— Да погоди, дяденька, не все еще сказал, — прервал его Федор. — На опушке-то изобка стоит, а в изобке кто-то живет, дым курится...

— А-а, вот это — дело! — заволновались челядинцы. — Молодец Федюшка! Боярышню нашу, раскрасавицу писаную, к теплу пристроить можно... Все не под небесами ждать ей придется.

Ганночку все близкие к ней и ее отцу — вся челядь, вся дворня — любили. Ко всем была ласкова молодая девушка, для всех находилось у нее доброе слово, и ради этого все были готовы пойти за свою любимицу не только в огонь, но и в самое пекло.

Поэтому и теперь известие, принесенное Федюшкой, обрадовало всех этих людей, сильно встревоженных тем, что любимицу-боярышню на время поисков подмоги пришлось бы оставить в возке неизвестно на сколько времени.

— И хвалить, дяденька, не нужно, — рассыпался Федюшка, — что приметил, то и говорю...

— За то хвалят, что догадлив ты, парень, вот что! — высказал новую похвалу старик. — Мы вот тут на одном месте топчемся, а ты, не долго думая, слетал, осмотрел все и нас на новые мысли наводишь.

— Да ты что там, Серега, балясы то-чишь? — раздался со стороны возка сердитый оклик старухи-мамки. — Ты бы лучше дело делал, а наговориться и после успеешь... Еже-ли есть поблизости какое ни на есть жилье, так Ганночка да я и пешком туда доберемся...

Мамка и Ганночка, заслышавшие радост-ные крики, сами выбрались из возка и теперь подходили к кучке холопов. Те почтительно расступились пред дочерью своего господина.

— Ты, матушка, — заговорил старик Сер-гей, обращаясь к девушке, — повременила бы малость; спервоначалу посмотреть нужно, кто в избобке той живет.

— Кто? Уж верно крещеные, — затаратори-ла старуха, — в этой стороне о нехристях и не слышно... И не изволь, Серега, препираться! Проводи-ка нас с Ганночкой вперед, все сразу и посмотрим, как и что! Идем, что ли, голубка моя сизокрылая? — обратилась она к молодой девушке, теперь уже не чувствовавшей стра-ха, а даже радовавшейся этому небольшому дорожному приключению, доставившему ей возможность поразмять ноги прогулкой по лесу. — Идем, милая, скорей! — добавила

мамка и первая побежала вперед.

Холопам оставалось только повиноваться, и все вершники, ведя на поводу коней, последовали за боярышней.

Идти им пришлось недалеко, немного более полверсты и, пройдя эту недолгую дорогу, путники очутились пред небольшой, но весьма ладной на вид избушкой, стоявшей действительно на краю огромного, только что пройденного поездом леса, пред необозримым, пустынным полем.

Едва они подошли к низенькому крылечку, как двери сеней растворились и на крыльце появилась высокая, далеко еще не старая женщина, удивленно смотревшая на подходивших пешеходов.

Одета она была в крестьянский тулуп и ее голову покрывал редкий тогда в России шалевый турецкий платок, из-под которого выбивались пряди непокорных черных волос.

III

ТАИНСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ

Женщина ни слова не произнесла даже тогда, когда подходившие путники были совсем близко от нее, и лишь с любопытством смотрела на них, в особенности на закутанных с ног до головы путниц.

Ганночка тоже глядела на незнакомку из-под платка, глядела с восхищением, — такую красавицею показалась она ей. Но глаза этой молчаливой женщины были особенные. Их взгляд, казалось, обладал какими-то невидимыми остриями и так и впивался в того, на кого был устремлен. По крайней мере, молодая девушка почувствовала себя как-то неловко, когда женщина на крыльце вдруг уставилась на нее. Ее взгляд словно жег Грушецкую, и она, не будучи в силах вынести его, невольно для себя потупилась и в то же мгновение услышала, что глядевшая с крыльца женщина засмеялась.

Должно быть, и старуха-мамка тоже почувствовала некоторую неловкость. Она

громко запыхтела, закряхтела и воскликнула:
— Тьфу, тьфу, тьфу, чур меня, чур! Что за ведьма явилась? Сгинь, сгинь, рассыпья, ежели ты не от мира сего.

Но это не подействовало. Женщина на крыльце продолжала смотреть своими огромными лучистыми глазами на путников, как будто дожидаясь, чтобы кто-нибудь из них заговорил с нею...

Однако, когда старый Серега, почтительно сбросив с головы колпак, начал спрашивать, нельзя ли побыть в доме боярышне с мамкою, а на задворках приткнуться их обозу, пока не будет починено сломавшееся полозье, незнакомка, внимательно выслушав его, вдруг громко-громко расхохоталась и кинулась назад к крылечным дверям.

Это было так неожиданно, что путники даже и не заметили, как она исчезла, и только слышали громкое хлопанье двери.

— Навождение дьявольское! — так и взбеленилась старушка-мамка. — И впрямь ведьма! Или просто ума рехнулась?..

— Постой, мамушка, — серьезно и даже несколько строго остановил ее Сергей, — мо-

жет, она кого другого вышлет к нам. Чего ерепениться раньше времени? Ведь худа она нам никакого не сделала, а ежели хохочет, так пусть себе на здоровье; должно, что глупенькая.

— Уж глупенькая там или умненькая, — не унималась старушка, — а не гоже боярышне здесь оставаться... Может, тут воровской пригон...

— Гоже или негоже, — опять серьезно сказал старик, — а придется остаться, ежели идти больше некуда. А насчет воров тоже бояться нечего: нас немало, да и не с голыми руками мы... А-а, вот еще кого-то Бог дает.

Дверь на крыльце опять распахнулась, и путники увидели на нем безобразную старуху, появившуюся пред ними так же неожиданно, как неожиданно скрылась молодая женщина.

Эта старуха была действительно безобразна. Ее лицо было темно, почти черно; большой, длинный нос, слегка загнувшийся крючком, придавал ей вид хищной птицы. На ней был ярко-красный, совсем не по-русски, концами назад, повязанный платок, а на плечах

накинута суконная, с громадными медными пуговицами безрукавка, тоже невиданного в то время на Руси покроя.

— Ведьма, совсем ведьма, — закричала неугомонная мамушка и начала торопливо креститься. — Идем, Агашенька, назад, не место нам тут!

— Молчи, божья старушка! — уже сердито крикнул Серега и, смело поднявшись на крыльцо, вступил в объяснение.

Ганночка тоже испугалась, когда увидела эту безобразную женщину, но ее испуг быстро сменился любопытством; притом же и подвечерний холодок давал себя знать, и девушке хотелось забраться в тепло, сбросить тяжелые меховые одежды, растянуться на лежанке и отдаться сладкой неге и дремоте. По лицу Сергея она видела, что переговоры идут вполне удовлетворительно, и радостно заметила, что их старый, преданный челядинец наконец махнул им колпаком, приглашая этим подняться на крыльцо.

— Ну, идем, что ли, Агашенька, — недовольно проворчала мамка. — Делать нечего — и впрямь, куда деваться, ежели другого

приюта нет. Только ежели что, так Серега и будет в ответе, а не я...

Старушка, тоже прозябшая и в душе очень довольная, что есть возможность побыть в тепле, смело вошла первою на крыльцо. Ганночка последовала за нею; позади них пошли сопровождавшие их вершники, любопытство которых тоже было пробуждено этим таинственным жилищем и этими таинственными женщинами.

— Не бойся, мамушка, ничего, — шепнул старушке Серега, когда та была на крыльце, — живет тут туркиня одна, полонянка — это молодая-то, а старуха при ней — вот как ты при боярышне. Они одни и живут и добрым гостям обрадовались...

— Ну-ну! — проворчала старуха. — Уж и как бы они не обрадовались? Ведь, чай, не простые смерды к ним припожаловали, а воеводская дочь.

Путники были уже в обширных сенях таинственного дома. Было темно, но уже чувствовалась живительная теплота. Но вот, наконец, запахнулась какая-то невидимая среди тьмы дверь, и сразу просветлело. На поро-

ге стояла прежняя старуха и жестами звала гостей идти за нею. Окончательно набравшаяся храбрости мамушка, ухватив Ганночку за руку, двинулась вперед, все-таки крикнув:

— Серега, не отставай!

Перешагнув порог, все трое очутились в просторной горнице с большими, опять-таки необычными для русских жилищ того времени окнами. Стены горницы были увешаны роскошными персидскими коврами, а ее меблировка тоже была необычная для русских: преобладали низенькие, мягкие тахты и только в одном углу стояли русские широкие скамьи да большой стол, покрытый золототканной скатертью.

За столом, когда в комнату вошла Ганночка с мамкой, сидел молодой человек в русском кафтане, богатом, нарядном и свидетельствовавшем, что этот человек был не какой-нибудь простец. Ганночка, входя, уже бросила мимолетный взгляд на него, и этот молодец за столом показался ей прямо-таки красавцем. Да и в самом деле он был очень красив, но общее выражение его лица было какое-то мрачное, — не злобное, а именно

мрачное, суровое, и это портило впечатление, производимое и его правильными, словно точеными чертами лица, и глубокими черными, то и дело поблескивавшими глазами. Когда Ганночка взглянула на него еще раз пристальнее, то он уже не понравился ей, и какой-то смутный страх, как предвестник будущих невзгод, вдруг проник в ее душу.

IV

НЕВЕДОМЫЙ ХОЗЯИН

Молодой человек с любопытством смотрел на вошедших.

Так прошло несколько мгновений. Наконец, хозяин словно спохватился, что не приветствовал гостей, и, приподнявшись на скамье, несколько сильным голосом, сопровождая свои слова легким наклоном головы, сказал:

— Добро пожаловать! Чьи вы будете, не знаю того, но везде у нас на Руси гость в доме — дар Божий. Разоблачайтесь да обогрейтесь с холода-то!..

Мамка словно ждала этого обращения.

— Спасибо на ласковом слове, добрый мо-

лодец, — затараторила она. — Чей ты, того и я не знаю, хотя по кафтану вижу, что не просто-го ты рода. А мы все будем вот ейного, — указала она на Ганночку, — батюшки: государева чернавского воеводы Симеона Федоровича. Чай, слышал про него?

Глаза молодого человека так и сверкнули недобрый огнем, когда он услышал слова мамки.

— Это Грушецкого, что ли, по прозвищу? — глухо и с оттенком злобы в голосе вымолвил он. — Как же не знать? Знаю! Нов он у нас человек, а знакомы мы... Все друг друга ищем, да найти никак не можем! — и вдруг, как бы спохватившись, что сказал лишнее, он сразу замолк.

— Ежели знакомцы вы с Симеоном Федоровичем, — воспользовалась этим перерывом старушка, — так еще того лучше! Уж будь покоен: Симеон-то Федорович за твою услугу в долгу пред тобой не останется и сторицей отблагодарит.

Молодой незнакомец при этих словах старушки заметно усмехнулся.

Та увидала эту усмешку и рассердилась.

— Не гоже смеяться-то, господин, — заговорила она, — ежели люди в беде и помощи просят!.. Сам же ты сказать изволил, что гость в дому — дар Божий, а и сам ты слышал, что не простые мы люди; так по чести ты и гостей таких принимать должен... Не хочешь — твоя воля, уйдем...

— Нет, бабушка, нет! — спохватился молодой хозяин, — оставайтесь, сколько вам надобно. Тут у меня бабы есть, так они вам помогут, — напоят, накормят, а захотите — так и спать на вытопленную лежанку положат. Не русского они у меня теста, а добрые... Из персидской земли вывезены, по-нашему, почитай, и не говорят, ну, да это ничего — уж вы-то промеж себя столкуетесь. А я сейчас выйду, посмотрю, нельзя ли чем-либо вашему горю пособить... Это вашего дома холоп, что ли? Ну, выйдем, старый, как тебя там! — обратился он к Сергею и, сейчас же захлопав в ладоши, громко выкрикнул: — Зюлейка! Ася!

На этот зов из соседнего покоя выбежали и старуха, и молодая женщина, первая встретившая нежданных гостей на крыльце. Ганночка заметила, с каким любопытством

оглядела ее с ног до головы молодая, и ей показалось теперь, что во взгляде этих больших черных глаз светились не то испуг, не то жалость.

Старуха не обращала никакого внимания на пришельцев; она даже не кинула на них взгляда, а подобострастно, совсем по-собачьи, смотрела на своего господина, выжидая его приказаний.

Тот заговорил с нею повелительно на каком-то непонятном языке.

— Ну, боярышня, — ласково, заметно стараясь смягчить свой грубый, си́плый голос, обратился он затем к Ганночке: — прости ежели не понравилось тебе что... Уйду я от вас, отдохайте, а как вернусь, обо всем переговорим толком. Симеон-то Федорович во всей округе дочкой своей хвастается! Умница-разумница, баит, другой такой и не найти... Рад, что судьба нас с тобой свела. Может, и к добру, а может быть... — он оборвался и через мгновение глухо dokonчил: — может быть, для кого-нибудь и к худу.

Ганночка вся так и вздрогнула, услышав эти слова, Она была бойкая, развитая не по

своему времени девушка и хотела было сама заговорить, нисколько не смущаясь тем, что впервые видит этого молодого красавца, но не успела. Хозяин отвесил ей почтительно-низкий, поясной поклон и большими шагами пошел к дверям, не обратив внимания на няньку.

— Ну, идем, что ли! — крикнул он на ходу Сереге. Женщины остались одни.

Как только затворилась дверь, молодая кинулась к Ганночке и, что-то лепеча на непонятном для девушки языке, быстро начала распутывать ее. Когда платок был скинут, молодая персиянка, увидав лицо Ганночки, даже вскрикнула от восторга и с пылкостью южанки осыпала девушку бесчисленными поцелуями. В ее лепете слышались уже и русские слова, которые она произносила, уморительно коверкая их. Но уже и это было хорошо. Кое-как Ганночка могла понять, что хотела выразить ей это дитя далекого Ирана, так пылко целовавшее ее и не скрывавшее пред ней своего восторга.

— О, хороша, хороша! — воскликнула персиянка. — Я тебя полюбила, я буду твоей сест-

рой и стану защищать тебя. Хочешь ты быть моей сестрой?

— Хочу! — ответила Ганночка, сразу же покоренная этой ласкою.

— И будешь, и будешь! — захлопала в ладоши персиянка. — Я — Зюлейка, да, я — Зюлейка, — ударяя себя в грудь, прибавила она, — а ты? Как зовут тебя?

— Ганна...

— Ганна! — протянула Зюлейка и несколько раз подряд повторила: — Ганна, Ганна! Какое имя!.. У нас так не называют девушек. Но вы — другой народ, совсем другой... Так Ганна! Теперь я буду помнить, как тебя зовут. Ты не бойся, я всегда буду около тебя... О-о, как я ненавижу его! — вдруг с пылкой злобностью воскликнула Зюлейка и даже сжала кулачки.

— Кого? — встревоженно спросила Ганночка, которой были совершенно чужды такие быстрые смены душевных настроений. — Кого ты ненавидишь?

— Его, который ушел... князя...

— Князя? — вмешалась в разговор мамка. — Да нешто это — князь?

— Да, да! — закивала головой Зюлейка. —

Большой князь... могучий... Все может, все!.. Он много зла творит, ой, много, и никого не боится...

— Ой, святители! — взвизгнула мамка, услышавши эти слова. — Да куда же занесло-то нас?.. Уж не к злодеям ли окаянным попали?

Старушка уже успела с помощью безобразной персиянки снять верхние одежды. Тепло сразу растомило ее, и она с ужасом думала, что вот-вот придется одеваться и снова идти на холод.

— Оставь, матушка, — перебила ее причитания Ганночка, и в ее голосе на этот раз даже послышалась строгость. — Слышала ты, чай, что вот Зюлейка говорит: князь — этот добрый молодец — не простец, не смерд, а государев слуга. Так злого на нас он не умыслит. Притом же он знает и про батюшку... Будь, родная, покойна! Побудем здесь, пока полозье поправят, а там и опять с Богом в путь-дорогу.

Зюлейка, слушая эти полные бодрости слова, радостно кивала головой и хлопала в ладоши.

НАСЛЕДСТВЕННАЯ ОБИДА

Старый Серега покорно следовал за молодым красавцем-князем, хотя его сердце было далеко не спокойно. Старик нюхом чувствовал опасность: хотя вокруг него не было заметно ничего угрожающего, но ему сильно не нравился этот заносчиво-дерзкий, надменный молодец, смотревший на все вызывающе, нагло, так нагло, как будто на него во всем московском государстве и управы не было.

Еще более смутился старик, когда заметил, что хозяин ведет его не в сенцы, откуда были двери на крыльцо, а куда-то вглубь таинственного жилья.

— Позволь, батюшка, слово спросить, — наконец не выдержал Сергей: — куда же ты меня теперь ведешь? Ведь наши возки там у ворот приткнулись, и мне у моих людей место...

Князь глухо засмеялся, а затем грубо сказал:

— Поспеешь еще к своим, старый сын, допреж этого должен ты мне ответ держать.

— Уж на чем — и не знаю, — недоуменно развел руками Сергей, — кажись, ни в чем пред твоею милостью не провинился.

— Иди, иди! — крикнул в ответ князь и, сам распахнув двери, слегка толкнул в них Сергея.

Они очутились в просторной горнице, светлой днем, а теперь поверженной в сумеречные тени. Ее стены были увешаны тяжелыми медвежьими шкурами, среди которых эффектно выделялись громадные кабаньи головы с оскаленными клыками. Под ними были навешаны рушницы, самопалы, мечи и кинжалы в ножнах с роскошной оправой. Широкие лавки вдоль стен также были покрыты звериными шкурами; в углах стояли светцы, а на столах — жбаны, кубки и чаши, форма которых была заимствована из Немецкой слободы и сделана по-новому — в виде длинных, высоких, на тоненькой ножке стаканов.

— Ну, стань, старый хрыч, вот здесь, — указал хозяин Сергею место против стола, за ко-

торый он уселся сам, сейчас же небрежно развалившись на широкой лавке. — Отвечай, как попу на духу, и не моги соврать... Со-лжешь, худо будет.

Произнося эту угрозу, князь так сверкнул глазами, что по спине бедного Сергея мурашки забегали.

— Воля твоя, батюшка, — с заметной дрожью в голосе проговорил он, — а ежели я ничего дурного не сделал, не тать я ночной, не вор государев разбойный, так и таить мне нечего... Ехали мы к господину нашему Симеону Федоровичу в Чернавск, никого по пути не обижая.

— Довольно! — перебил его хозяин. — Ты давно у Сеньки-вора Грушецкого в холопах?..

Старик встрепенулся. Новая грубость этого приютившего их человека обидела его до глубины души.

— Кто ты, батюшка, будешь, то мне неведомо, — с достоинством ответил он, — а господин мой Симеон Федорович своему царю-государю не вор, а от его царского величества службою пожалован. Ты же вот в лесной трущобе живешь и — кто тебя знает — может, у

лесных душегубов атаманствуешь. Мало ли кто теперь лихими делами промышляет!

Старый холоп проговорил все это медленно, твердо, не спуская взора с обидчика.

— А ежели про меня тебе узнать желательно, — продолжал он, — так я тебе скажу, что я батюшке господина моего теперешнего с малолетства служил, ребеночком махоньким, несмышленочком его помню, и на смертном ложе обряжал его и в гроб клал, и в могилу опускал, а теперь верою и правдою не за страх, а за совесть, его сыну служу и чести его в обиду не дам.

— Замолчи! — громко и грозно вскрикнул молодой князь. — Не для того я тебя призвал, чтобы твои песни слушать. Ежели ты вору Федьке Грушецкому служил, так и на Москве с ним был до того, пока его царь-государь от себя на вотчину отослал?

— Был.

— Неотлучно?

— Может, и отлучался, того не припомню...

— А князя Агадар-Ковранского помнишь? — яростно закричал молодой человек и так стукнул кулаком по столу, что стоявшая

на нем посуда ходнем заходила. — Помнишь, как он царем вору Федьке головою был выдан? Помнишь, а?

Голос молодого человека переходил в бешеный крик. Его лицо покраснело и на лбу показались капли холодного пота, белки глаз налились кровью, он весь так и трясся от охватившей его ярости.

Очевидно это была чрезмерно пылкая, страстная, быстро подчинявшаяся впечатлениям натура, которая во всем предпочитала крайности и не признавала уравнивающей их золотой середины.

В свою очередь припомнил и Серега то, о чем говорил молодой князь.

Это было так давно; десятки лет уже прошли, а старик при первом же воспоминании увидел пред своими глазами, как живого, высокого, с нерусским лицом старика в пышных боярских одеждах, приведенного по царскому велению на их двор "для бесчестья". Гордый, надменный стоял он, этот старик, потомок древнего рода прикаспийских властителей, у крыльца своего врага и молча, без слова выслушивал сыпавшийся на него град ядовитых

насмешек, в которых поссорившийся с ним Федор Грушецкий отводил свою душу за нанесенную ему обиду. Смутно припомнил теперь Серега, что старики поссорились "из-за мест" у царского стола. Сел Агадар-Ковранский выше Грушецкого и места своего ни за что не хотел уступить сопернику, а тот шум поднял и о бесчестье кричал. Агадар-Ковранский в долгу не остался и всяким воровством Грушецкого корить начал, каждое дарение припомнил, которое получил Федор Грушецкий, когда на воеводстве был. Такой тогда шум в столовом покое спорщики подняли, что повелел им великий государь обоим вон выйти. Но они и тут не унялись: на крыльце потасовку завели, Агадар-Ковранский Грушецкого за бороду таскал, всю так и вырвал бы, если бы их боярские дети да дворцовые дворяне не развели. А потом царь великий сам разобрал все это дело, и вышло, что не Агадар-Ковранский, а Грушецкий прав. И выдан тогда был обидчик головою обиженному.

Видел Серега гордого князя теперь как живого. Стоит он у крыльца, не шелохнется, только так огнями глаза и взблескивают, да

рука сама к поясу по привычке тянется. Хорошо, что нож у него отобрали, а то затуманила бы пылкая южная кровь голову и кончилось бы "бесчестье" смертоубийством.

Только кто же этот молодец? С лица он как будто похож на Агадар-Ковранского: те же сверкающие из-под тонких, точно вычерненных бровей очи, та же осанка — гордая, властная, та же пылкость без удержу; да и с голоса он похож: говорит глухо, как будто слова откуда-то изнутри вылетают.

— Ну, что, — услышал Серега новый вопрос, — припомнил ли?

— Прости, батюшка, — тихо ответил старик, — господа спорят, так не нам, холопам, разбирать, кто из них прав, кто нет... Не наше это дело холопское! Да и кто ты такой, не ведаю. С чего ты старую свару поднимать вздумал?

— А с того, — так и загремел молодой князь, — что тот Агадар-Ковранский мой дед был, и его позор мне до сих пор душу жжет; как вспомню, так все равно, что полымем охватит. И вот теперь сама судьба привела меня старый долг сторицей заплатить.

Неспроста, видно, внучка Федьки в мои хоромы залетела: судьба нанесла ее ко мне. Ха-ха-ха! Умница-разумница, золото, а не девка... Вот посмотрю я, как она у меня запляшет... Вдоволь натешусь, а там будь, что будет... Эй, кто там! — и молодой человек громко захлопал в ладоши.

VI ОТ ГНЕВА К ГНЕВУ

Старый Серега был далеко не труслив и видал на своем веку всякие виды, но так и вздрогнул, услышав это призывное хлопанье в ладоши. Он теперь уже не предчувствовал, а видел беду, и страшился — правда, не за себя, а за свою ненаглядную боярышню, доверенную его попечениям.

— Батюшка-князь! — сдавленным голосом выкрикнул он. — Что ты задумал?

— А вот сам, коли поживешь, увидишь! — загадочно усмехнулся Агадар-Ковранский.

— Смотри, Господь тебя накажет! — снова крикнул окончательно терявший голову старый холоп. — Он-то все видит...

— Накажет? За что? — опять зло и загадочно усмехнулся молодой человек.

— Ежели ты что-либо злое против боярышни Агафьи Семеновны задумал... Гостья она твоя, твоей чести княжеской доверилась... И думать не могли мы, что к разбойнику-атаману попали.

— Молчи! — весь багровея, выкрикнул Агадар-Ковранский, — молчи, или я тебе сейчас глотку заткну!

Он злобно сверкнул глазами и схватился за рукоять заткнутого за пояс ножа; но в это мгновение в покое, из-за дверей, завешенных тяжелой медвежьей шкурой, бесшумно появились двое людей с нерусскими лицами; их скулы и узкие, словно прорезанные щели, глаза выдавали их восточное происхождение.

Оба эти человека были высоки ростом, широки в плечах и, очевидно, обладали громадною физическою силою. Они смотрели на князя таким же подобострастно-собачьим взглядом, каким смотрела на него и старуха Ася, приставленная к красавице Зюлейке. Ясно было, что достаточно взгляда повелителя, чтобы эти преданные рабы без рассуждения

исполнили всякое, даже самое ужасное дело.

— Болтает холопий язык без разумения, — проговорил князь, видимо, сдержав страшным усилием воли свой гнев, — все вы, псы потрясучие на один лад... Гассан, Мегмет! — обратился он к своим приспешникам. — Возьмите этого сыча, угостите его вместе с другими холопами на славу... Так угостите, чтобы долго, всю жизнь помнил наше гостеприимство!

Дольше он не мог сдерживать клокотавшие в нем ярость и гнев и разразился неестественным, скорее всего истерическим смехом, быстро перешедшим в хохот.

— Ну, пойдём, душа моя, — проговорил Гассан, кладя руку на плечо Сергея, — ты иди, иди себе, не бойся ничего: наш господин куда какой добрый... Он тебя угостить велел... Иди же, а то другие-то твои куда пить лихи, выпьют все, съедят все и тебе, душа моя, ничего не останется...

— Иди, иди, — слегка подтолкнул старика и Мегмет, — а то господин осерчает, тогда худо будет.

Сергей понимал, что сопротивление с его

стороны было бы бесполезно.

— Князь! — торжественно проговорил он. — Помни: Господь не попускает злу и наказывает обидчика...

— Иди прочь! С глаз долой! — закричал и затопал ногами Агадар-Ковранский. — Вы что? — сжал он кулаки на своих слуг. — Чего еще язык чесать даете!

В одно мгновение Сергей, словно вихрем выброшенный, очутился за дверь в другом покое.

— Ну, какой ты, душа моя! — укоризненно покачивая головой, проговорил Мегмет. — Ну, зачем тебе господина нашего гневить?.. Ведь никто с тебя шкуры еще не спускает...

— В вашей я воле, — тихо и печально проговорил старик, — делайте, что хотите, ежели креста на вас нет...

Гассан и Мегмет, перемигнувшись между собою, громко захохотали.

— Смейтесь, смейтесь! — воскликнул Сергей, которого морозом по коже подрало от этого хохота. — На том свете за все про все рассчитаетесь...

Его возбуждение пропало, отчаяние уже

овладело им. Старик не видел выхода из создавшегося ужасного положения и машинально передвигал ноги, следуя за своими проводниками, все время пересмеивавшимися и весело болтавшими на каком-то непонятном ему наречии.

Но каково же было его изумление, — он даже рот с диву разинул и глаза выпучил, — когда после нескольких переходов открылась дверь в длинный, просторный покой, очевидно бывший "людскою" в этом странном доме, и там он за столами, уставленными всякими яствами — окороками, пирогами, мисками с варевом и жбанами с питиями, — увидел кучеров своего поезда, двух горничных девок боярышни и мальчугана Федьку, нашедшего это таинственное жилище. С ними были еще незнакомые Сергею люди, очевидно слуги князя Агадар-Ковранского. Все они весело и беззаботно угощались, на их лицах не было заметно никаких признаков страха. Из челядинцев Грушецкого не хватало только троих вершников. Сергей сразу заметил это, но его удивление было так велико, так сильно, что он на первых порах и слова выговорить не

МОГ.

Между тем челядинцы Грушецкого заметили своего набольшего.

— Эй, дядя Сергей, Серега, кум Сергей, — закричали все они разом, — вот и ты, живые мощи, явился... Куда запропал?.. Ишь, как князенька здешний — дай ему Бог всякого здоровья! — угощает...

— Садись, душа моя, садись скорее за стол! — слегка и даже дружелюбно подтолкнул в бок старика Гассан. — Будь гостем!..

Сергей все еще нерешительно приблизился к столу. Сидевшие на скамьях пораздвинулись, очищая ему место.

"Уж не во сне ли я все это вижу? — подумал старик, опускаясь на скамью. — Может, и в самом деле я понапрасну князя избидел, может, никакой беде и не бывать?.. А ежели так, то с чего же он, как ерш, ерепенился?"

Однако сердце старого холопа ныло, предчувствия не оставляли его, но он понимал, что в такой обстановке невозможно было выразить подозрения.

А между тем мрачные предчувствия отнюдь не обманывали старого холопа.

Князь Василий Лукич, оставшись один в своем покое, забегал по нему, как бегают разъяренный зверь по своей клетке. В его душе так и ревела буря, думы и мысли в его распаленном мозгу словно вихрем крутило и рвало. Горячая южная кровь так и бурлила, кидаясь в голову, туманя ее до того, что князь видел ясно созданные воображением образы.

Дедовское оскорбление, так и оставшееся в наследство внуку неотмщенным, всегда сушило князя Агадара, всегда давило страшной тяжестью его гордую душу, и теперь сама судьба как бы посылала ему полную возможность отмстить так, как могло подсказать только болезненное, распаленное воображение.

Пылкий князь уже теперь начинал чувствовать сладость мести. Ему до жуткости сладко было представлять себе, как он будет утолять свою ярость. Он не торопился, а как тигр, уже захвативший жертву, отдалял решительный миг, наслаждаясь пока тем, что создавал его мозг. По временам из груди князя вырывался дикий хохот, мрачный и грозный. Только почувствовав усталость, он груз-

но опустился на скамью и, громко свистнув, захлопал в ладоши. На этот зов сейчас же явилась старая, безобразная Ася. Грозно нахмурив брови, заговорил с ней князь Василий на понятном только им одним восточном наречии. Старуха слушала его, то и дело кланяясь.

— А теперь проводи меня к Зюлейкину покою, — уже по-русски крикнул Агадар, покончив с приказаниями, — я хочу видеть ее... Да, видеть, но так, чтобы она меня не приметилла...

Ася снова в знак повиновения склонила голову, приложив ко лбу руку. Потом она тихо, по-кошачьи, шмыгнула вперед. Князь последовал за нею.

Покои Зюлейки были отделены от комнаты князя длинным переходом, в конце которого была также завешенная звериной шкурой дверь.

Слегка приподняв эту своеобразную портьеру, Василий Лукич заглянул внутрь покоя. Ганночка сидела на скамье у окна рядом с нежно обнявшей ее Зюлейкой. В глубине покоя у лежанки дремала, облокотившись на нее, мамка.

— Как хороша! Ангел небесный! — неволь-
но вырвался у князя Василия восторженный
лепет. — Как хороша! — Но на его губах так и
зазмеилась нехорошая злобная улыбка. —
Пусть, пусть! Слаще будет моя месть... Да,
судьба отдает мне эту красавицу...

VII

ЛЕСНОЕ ЛОГОВО

Должно быть, Ганночка почувствовала на
себе чужой горящий взор. Она забеспокои-
лась, зашевелилась и даже привстала со свое-
го места. Князь Василий сейчас же отпрянул
прочь и, схватив Асю за руку, потащил ее за
собой назад...

— Смотри, ведьма, — прерывисто крикнул
он, — чтобы все было исполнено, как я прика-
зал... Весь твой поганый дух вышибу, ежели
слукавишь, а теперь убирайся, вернись но-
чью!.. Чтобы у тебя все было готово... Вон!

Ася бесшумно, как тень, скрылась.

— Эй, Гассан, — закричал и захолопал в ла-
доши Агадар, — коня!

— Прикажешь мне быть с тобой, госпо-

дин, — спросил появившийся на зов, словно из-под земли, Гассан.

— К дьяволу на рога! — закричал на него Агадар. — Один на усадьбу еду!.. У вас здесь свое дело... Что наезжие холопы?

— Угощаются по-твоему велению, господин, — было ответом, — все исполнено, как ты приказал...

— То-то! Чтобы к ночи все они замертво перепоены были... Сонного порошка в брагу подсыпь, но чтобы все они пластом лежали, когда я вернусь... Запору, жилы вытяну, ежели что не так будет...

— Будь спокоен, господин! — ответил Гассан. — Верою и правдою мы тебе всегда служили и теперь послужим. Не наше дело раздумывать, что за чем; что ты приказываешь, должно нам исполнять, не прекословя.

По виду Гассан был совершенно спокоен, но его узкие глаза так и бегали из стороны в сторону. Видно было, что его душа далеко не была так спокойна, как лицо.

— Все, господин, будет исполнено, все! — повторил он еще раз. — За это я отвечаю тебе!..

Эти слова были сказаны уже вдогонку Агадар-Ковранскому, быстро вышедшему из покая. Гассан так ловко шмыгнул, что очутился впереди своего повелителя, и, когда князь вышел на крыльцо, здесь уже ожидал его великолепный горячий конь, которого еле-еле могли сдержать под уздцы двое дюжих конюхов монгольского типа.

Князь легко и лихо вскочил на седло. По всему было видно, что он — превосходный наездник. Очутившись в седле, князь огрел коня плетью по крутым бедрам. Тот, храпя и дико озираясь налитыми кровью глазами, взвился было на дыбы, стараясь сбросить с себя всадника, но напрасно: князь Василий словно прирос к седлу и град ударов нагайкой заставил смириться могучее животное пред человеком. Конь опустил передние ноги и рванулся вперед. Как раз в это мгновение князь дико гикнул, взвизгнул, и испуганное животное вихрем помчалось вперед, роняя на белый снег клубья багрово-кровавой пены.

Все это заняло минуты полторы, не более. Трудно было заметить, как скрылся князь за поворотом дороги, — так быстро унес его

конь. Конюхи и Гассан стояли на крыльце, как очарованные.

— Лихо, шайтан его пополам разорви! — пробормотал один из них, приходя наконец в себя.

— И вот постоянно он так-то, — ответил другой, — столько в нем силы да удали молодецкой, что и размыкать где их не знает...

Гассан, слыша эти слова, вздохнул полной грудью и тихо, с явным сожалением в голосе, произнес:

— В степи бы родимые вернуться ему! Там простор по нему, а здесь, в Москве, он — что орел в клетке. А кровь дедовская так вот и играет... Эй, да что... Воля Аллаха такова, и против нее не пойдешь... Идем, что ли, к гостям-то?.. Поди, заскучали без нас!

Он повернулся и побрел в дом.

У дверей сеней Гассан остановился и как-то нехотя сказал:

— Не по сердцу мне затея господина нашего!

— А что? — недоумевая спросил следовавший по пятам за ним конюх. — Будто зло какое затевает: ишь, угощать велел...

— Ну-у! — Гассан раздумчиво покачал головой, махнул рукой и перешагнул порог.

А в это время князь Василий мчался по наезженной дороге. После нескольких минут бешеной скачки он свернул в сторону и, сдержав коня, заставил его войти в кустарник, окаймлявший дорогу. За кустарником вилась чуть заметная тропинка, и по ней-то Агадар-Ковранский и направил коня.

Мглистые весенние сумерки уже переходили в ночь. Однако было достаточно светло, когда после довольно долгого пути князь добрался через лес до обширной поляны, со всех сторон окруженной вековыми соснами. Посредине этой поляны стояли богатые — похожие, впрочем, на крепость — хоромы, около которых раскинулись разные службы. Это было поместье Василия Лукича.

Каждый устраивается по своему вкусу, и дикость места, должно быть, в совершенстве соответствовала дикой природе Агадар-Ковранских, этих недавних выходцев из прикаспийских степей. Они как будто хоронились от людей в этой лесной глуши, и все, по крайней мере и князь Василий, и его отец, и дед, жили

двойственной жизнью. На Москве, близ царя, они были совсем другими людьми. Там они сдерживали свои порывы и казались не хуже остальных царедворцев. Но, попадая из Москвы в свое поместье, сразу же обращались в дикарей; все наносное спадало с них, души как будто освобождались от всех внешних покровов, от всего, что сдерживает порывы, и в своем поместье князя Агадар-Ковранские были тиграми в логовищах.

Князь Василий Лукич был последним представителем своего рода. Он был единственным сыном своего отца, уже давно умершего. Матери князь Василий даже не помнил — она умерла, когда он был еще ребенком. Единственной родной душой у него была старуха-тетка по матери, которую он обожал со всею пылкостью своей страстной натуры. Марья Ильинишна, так звали тетку князя Василия, вдова незнатного дворянина, воспитала его, сироту. Она заменила ему мать, но не могла справиться с дикостью и пылкостью племянника в детстве, а потом, когда он вошел в зрелые годы, справляться с ним было уже поздно. Все-таки Марья Ильи-

нишна была во всем мире единственным существом, которое имело хоть какое-нибудь влияние на буйного, своевольного удальца. Старушка была уже дряхла и от лет слаба телом, но ее разум был светел и душа чиста от всякого зла и житейской скверны. Она безвыездно жила в лесном поместье племянника и, благодаря этому, всем, кто был около нее, жилось довольно сносно.

К ней-то и помчался из своего дома князь Василий, чтобы поделиться с нею тою радостью, какую доставила его душе мысль об отмщении за дедовскую обиду.

Неукротимый нрав молодого князя был хорошо известен его дворне и челяди. Известна была его жестокость в расправах, и это заставляло всех постоянно быть начеку. Едва только конь вынес Василия на поляну, как в хоромах уже заметили его и навстречу кинулись десятки людей. Одни спешили принять коня, другие просто суетились вокруг, третьи рвались, чтобы приложиться к княжеской ручке.

— Государыня-тетушка не легла еще опочивать? — не глядя ни на кого, громко спро-

сил князь, быстро взбегая на крыльцо, и, когда услышал, что Марья Ильинишна только что еще повечерять изволила, отдал новое приказание: — Пусть к ней кто-нибудь бежит и доложит, что, дескать, опять Василий прибыл и позволения просит к ней пойти...

Он остался на крыльце, глядя, как усердные конюхи вываживали пред ним коня.

— Чтобы через час он у меня в порядке был! — крикнул князь. — Я назад поеду.

В это время бегом возвратившийся холоп доложил ему, что государыня-тетушка Марья Ильинишна рада видеть своего племянника и ожидает его.

VIII

РАЗБУШЕВАВШАЯСЯ БУРЯ

Несколько робея, вошел неукротимый Агадар-Ковранский в покой своей престарелой тетки.

Пред ним, пока он шел по дому, везде распахивались двери, многочисленная челядь и приживальцы — последних у щедрых князей Агадар-Ковранских всегда было множество — отвешивали ему низкие, подобострастные поклоны. Князь Василий не замечал этого.

У дверей тетушкина покоя сидел низенький, дряхлый, седой как лунь, со сморщенным в кулачок, похожим на печеное яблоко лицом, старикашка, единственный, собственно, холоп Марьи Ильинишны. Его звали Дротом; хотя крестовое имя у него было совсем другое, но вряд ли он и сам его помнил и откликался только на свою привычную кличку. В качестве не принадлежащего ни к дворне, ни к челяди князей человека, он держал себя самостоятельно и, бывало, не спускал даже князю Василию, и не только перечил ему, но

иногда и дерзил, что, впрочем, всегда благополучно сходило ему: так сумело поставить себя в этом логове "диких князей" это беспомощное, бесправное, дряхлое и хилое существо.

И теперь Дрот, хотя и видел подходящего князя, сделал вид, что даже не замечает его. Он не встал с низенькой скамеечки, на которой сидел у дверей, даже головы не поднял, а остался сидеть, как сидел, и вдобавок ко всему замурлыкал себе что-то под нос.

Князь Василий, подойдя почти к порогу, остановился, нерешительно поглядел на Дрота и несколько заискивающим тоном вполголоса выговорил:

— Ну, здравствуй, что ли, старый пес!

Только услышав эти слова, Дрот поднял голову и прошамкал:

— А, это — ты, забубённая твоя голова? Каким ветром занесло? Небось носился все эти дни, ветер погоняя, или у своей персидской прелестницы торчал, на некрещеную красу глаза пяля?

Князь Василий промолчал. На него, обыкновенно вспыльчивого, эти грубые слова как

будто не произвели впечатления.

— Тетушка-то не легла в постель? — спросил он. — Молитвы на сон грядущий не прочитала?

— Тебя ждет, — опять шамкнул старик. — Ты смотри, не гневи тетушку... Ишь, к погоде, надо полагать, что-то занедужилась она.

— Что с ней? — тревожно спросил князь, чувствуя, что его мгновенно охватила боязнь потерять единственное дорогое для него существо. — Дюже немощна?

— Говорю, погоду чувствует, может статья, от тепель начнется, так и ноют старые кости... Да ты иди, иди, чего растабарываешь попусту? Ведь, поди, ждет она тебя...

— Ну, ин быть так, — даже вздохнул князь Василий, — пойду! — и с этими словами он робко, осторожно отворил дверь в тетушкин покой и перешагнул через порог.

Прямо на него так и пахнуло теплом, лампадной гарью и запахом различных травяных настоек. В покое была полутьма; единственным освещением здесь были огоньки многочисленных лампадок у образов, еще не завешенных на ночь убрсами. Неподалеку от пе-

реднего угла в глубоком кресле с высокой резной спинкой сидела сама тетушка Марья Ильинишна. В сумраке почти не видно было ее, к тому же она совсем глубоко ушла в кресло, что при малом росте и совершенно тщедушной фигурке делало ее совсем незаметной. Но князю Василию незачем было разглядывать ее. Дорогое сморщенное старушечье лицо всегда было пред его глазами и теперь он, едва перешагнул порог, радостно крикнул и с распростертыми объятиями кинулся к креслу.

— Тетушка милая, матушка богоданная, — лепетал он, опускаясь на колена и покрывая поцелуями маленькие морщинистые, сухие руки тетки, — прости ты меня, путаника, за то, что я давно у тебя не бывал...

— То-то, — проговорила с лаской в голосе старушка, — забывать ты меня начал, Васенька! Видно, молодое-то к старому не может липнуть...

— Ой, тетенька родимая, — совсем по-детски говорил князь Василий, — да и как же я могу забыть тебя? Ведь один я одинешенек на белом свете и одна ты у меня кровиночка ро-

димая. Те, что на Москве у нас есть, — только по имени родные, а истинная-то родная у меня только ты одна...

Он продолжал целовать руки Марьи Ильинишны и теперь — обычно неукротимый сорванец, не знавший удержу в своих порывах, — был совсем другим человеком. И в голосе, и в движениях у него было что-то детское, искренне покорное, отражающее неподдельную любовь, душевную ласку.

Старушку тронуло это обращение племянника. Она ласково положила на его голову руку и сказала:

— Ну, так быть по-твоему: прощаю тебя, ежели ты в чем-либо провинился... Господь да пребудет с тобою вовеки, как мое благословение пребывает с тобою... Говори теперь, что приключилось, зачем в такую позднюю пору летел?

Услыхав этот вопрос, князь Василий вскочил с колен и выпрямился во весь свой рост. Он как бы весь преобразился. На его лице уже не видно было недавнего детски-доброе выражения, оно сделалось прежним мрачно-хищным; его глаза сверкали, он дышал так

тяжело, что грудь высоко вздымалась.

Старуха зорко следила за своим племянником.

— Ох, Василий, — промолвила она, — не люблю я тебя таким-то!

— Не любишь? — воскликнул тот со страстной пылкостью. — Не любишь, когда я счастлив? Ха-ха-ха! Такое, тетушка, дело мне судьба послала, что, как сделаю его, хоть и умереть не жалко...

— Что? Какое такое дело? Что у тебя, Василий, случилось? — заволновалась Марья Ильинишна.

— Доброе дело, тетушка. Такая птичка в мою берлогу залетела, что не знаю, какого бога и благодарить за это! — и он, прерываясь и путаясь в словах и выражениях, рассказал о появлении в его доме боярышни Грушецкой.

Марья Ильинишна слушала его с большим вниманием.

— Ну что же, — тихо сказала она, когда князь Василий кончил свой рассказ, — чем худо-то? Гость в дому — дар Божий.

Агадар-Ковранский злобно расхохотался.

— Слышал я это! — проговорил он сквозь

смех.

— И хорошо, ежели слышал, — прервала его старуха, — ежели так, то чего же гогочешь, как жеребец невыезжанный? Поди, боярышня-то и годами молода и собой куда как пригожа?

— Ой-ли, тетушка, как пригожа! — пылко воскликнул князь Василий. — Что ангел небесный!

— Уж и ангел! — усмехнулась старушка. — Вот все-то у вас так! Чуть пригожую девку где увидите, сейчас же и ангел... Видно, защемило сердце-то?

Князь Василий усмехнулся, усмехнулся зло, нехорошо; его красивое лицо так и исказила эта дьявольская усмешка.

— А ты помнишь, тетушка, кто такие Грушецкие? А? Не помнишь? Так я тебе скажу, что мой дедушка, царство ему небесное, вора-деда этой самой Агашоньки Грушецкой за бороду таскал...

— Ну, так что же из того? — спросила Марья Ильинишна, и в ее голосе слышалась тревога.

— А то, что потом мой дед вору-Грушецко-

му царем головой был выдан, и тот его срамил и позорил, как хотел...

— Давно то было, Васенька, — печально проговорила старушка, — больно давно!

— Верно, тетушка, давно! Старики-то в земле, поди, сгнили, а вот в моем сердце дедовская обида жива. Мутит она меня, жить мне мешает... Как бываю я на Москве да войду во дворец, так и кажется мне, что все-то там старики на меня с укором смотрят, а молодые прямо так и смеются: ведь дедовская обида неотплаченной осталась, честь не восстановлена, память деда от позора не очищена... Как прослышал я, что Сенька Грушецкий в Чернавске, так с тех пор и покоя мне совсем не стало. Дал я зарок великий при первом же случае со злым ворогом рассчитаться, и вот судьба так-таки прямо на меня его дочку нанесла. Раньше, чем я думал, рок мне счастье послал... У-ух! — дико взвизгнул князь Василий. — Уже я не я буду, ежели теперь своего сердца не утолю... С тем и пришел я к тебе, тетушка родимая, чтобы счастьем своим поделиться. Что скажете мне, мама богоданная?

Ответ последовал не сразу.

Князь Василий стоял пред теткой, меча на нее огненные взгляды. Он тяжело дышал, страсти так и кипели в его неукротимом сердце.

— Что я тебе скажу, Васенька? — тихо заговорила наконец Марья Ильинишна. — А то скажу, что вижу я, будто негожее ты задумал. Оставь старые обиды! Ссорились старики, меж них потасовка вышла, они в грехе, они и в ответе; что меж них было, то прошло и быльем поросло; отец твой об этом не вспоминал, с чего же ты-то старые дела поднимать из могилы вздумал? Оставь, укротись! В чем повинна пред тобой, а тем паче пред твоим дедом Грушецкая? Ты это мне скажи!

— Ни в чем! — глухо ответил князь Василий.

— Ну, вот видишь, а ты ей зло — какое, не ведаю, а догадываться догадываюсь, — причинить желаешь! Подумай сам, что ты замыслил! Деды дрались, а внуки рассчитывайся...

— Пусть, пусть! — закричал князь Василий. — Что мне она? Мало ли таких-то у меня перебивало? Одной больше, одной меньше, — счета не испортишь... А через нее я

Сеньку Грушецкого помучиться да пострадать заставлю, его седую голову навеки позором покрою... Любо мне будет, когда он ужом от муки душевной извиваться будет, узнав, что его дочка единственная к нему покрыткой вернулась... Хороша она, тетушка! Как ангел, говорю, хороша, и Сенька-то поди гадает, что она царицей стать может: ведь, царевичу Федору Алексеевичу жениться время приспело, а царь Алексей Михайлович недужится и на ладан дышит; невест собирать будут со всей земли и Агашку Грушецкую на смотр возьмут. То-то позора будет, когда дознаются, что Агашка — покрытка!.. Грязной метлой погонят тогда всех Грушецких с царского двора и любо будет это моему сердцу: вот когда долг платежом станет красен... Не отговаривай, тетушка, не послушаюсь...

Он оборвался. Старушка вдруг, повинувшись порыву, поднялась с кресла.

— Не смеешь ты худо сделать боярышне Грушецкой, — заговорила она задыхающимся голосом, — твоей чести княжеской доверилась она, войдя в дом твой...

— Судьба ее нанесла! — прервал тетку Ва-

силий.

— Молчи, — собрав весь свой голос, выкрикнула та, — молчи и слушай! Вот тебе мой сказ: ежели ты только посягнешь на боярышню, то и не приходи ко мне... Прокляну тебя тогда, окаянного, а сама на старости лет возьму Дрота и уйду, куда глаза глядят, из твоего дома... Пусть я замерзну, пусть меня звери лесные разорвут, это тоже твое дело будет. Я ни малой минуточки не останусь... Прокляну, анафемой будешь!

— Пусть, пусть! — хватаясь руками за голову, не своим голосом закричал князь Василий. — Не могу я жить, пока дедовская обида не отмщена... Как знаешь делай, государыня-тетушка, убей меня завтра, а эта ночь моя... Завтра я, может быть, сам с собою покончу, ну, а теперь... Прощай, прощай!.. Подойти бы к тебе по-прежнему хотел, да не могу: злой дух во мне, он меня не пускает... Родная, прощай!

Князь горько и бурно зарыдал и выбежал из покоя, оттолкнув подвернувшегося ему под ноги Дрота так, что тот далеко отлетел в угол.

Марья Ильинишна бросилась к окну. Внизу у крыльца она увидела при свете смоляных факелов, как князь Василий, выбежав, словно безумный, из хором, вскочил на коня, дико взвизгнул и, нахлестывая своего скакуна нагайкой, исчез, словно злой призрак, в чаще леса.

— Бедная, злосчастливая! — едва проговорила старушка и, не будучи в силах справиться с волнением при одной только мысли о том, какая участь ожидает несчастную Ганночку Грушецкую, опустилась без чувств на пол у окна.

IX ТЕМНЫЙ УМЫСЕЛ

Когда Агадар-Ковранский так бешено умчался из своего лесного домика, там все вдруг повеселели. Люди переменялись, разговоры пошли громче, в людской даже кто-то песню затянул... Еще немного — и там, как говорится, "дым коромыслом пошел".

Старый холоп Серега выпил порядочно, но его голова все еще была свежа. Крепок был старик на питье! Старые литовские меда приучили его голову не поддаваться хмелю, да и душа у него в эти часы была все еще настолько спокойна, что нервное волнение превозмогало опьянение. Серега, как на каменку, лил внутрь себя все, что ему предлагали Гасан и Мегмет, но оставался трезвым.

"И с чего это мне все не по себе? — думалось ему. — Кажись, все благополучно: ишь какое угощение, словно всамделишные гости, а сердце-то так вот тук, да тук!"

И, чем дальше шло время, тем все более росла тревога старого холопа. Он ясно видел,

что угощают их неспроста...

— Пей, душа мой, пей, — то и дело подливал ему в ковш крепкой хмельной браги Гассан, — спать крепче будешь... Ай-ай, какие тебе сны приснятся!.. Молодым себя во сне увидишь, гурий увидишь, целовать их будешь!

И Гассан, лукаво смеясь, дружески толкал старика под бок.

— Да не охота что-то, — отнекивался тот, — довольно уже, премногим благодарны!

— Чего неохота, чего довольно? Пей! Вот как твои-то молодцы стараются...

Действительно, спутников Серегу не мучили никакие предчувствия. Они обрадовались возможности выпить и беззаботно пили без всякой думы о будущем. На них хмель действовал. Обе горничные девки крепко спали и так храпели, что их храп был слышен даже среди шумного разговора нетрезвых мужчин. Да и эти-то были совсем близки к тому, чтобы свалиться под стол.

"А что как нас всех спаивают? — промелькнула мысль у старого холопа. — Ведь похоже на то! Вон и Федюшка совсем посоловел... Ой, западня, чувствует это мое сердце! Что де-

лать? Как быть? Ведь беда-то не нам, а боярышне нашей грозит... Ее спасти нужно, но только как?"

Мозг старика, раздраженный и выпитым хмельным, и не отступавшим от него волнением, быстро-быстро заработал. Как-то так случилось, что ни Серега, ни его спутники ни одним словом не обмолвились о вершниках, которых недоставало среди них. Увлечшись изобильным угощением, они просто-напросто позабыли о товарищах, и только теперь Серега вспомнил об отсутствующих.

"Это хорошо, совсем хорошо! — решил он, — Мы-то здесь в западне, а они на свободе остались... Только как мне весточку подать, чтобы стереглись да не попадались?"

И вдруг новая мысль прорезала и осветила в голове старого холопа весь хаос мыслей. Он даже весело улыбнулся, когда его мозг начал работать в том направлении, которое указала внезапно сверкнувшая мысль.

"Была не была, а попробую!" — решил он и, весело подмигнув своему соседу Гасеану, задорно выкрикнул:

— А и в самом деле, чего кочевряжиться?

Все равно раньше утра не выехать, а, коли добрый хозяин угощает, грех отказываться.. Давай, что ли, татарская твоя образина, выпьем!

— Вот и хорошо, душа мой! — словно обрадовался Гассан. — Пить, так пить... Нам вон Коран запрещает, а и то, когда никто не видит, отчего с хорошим человеком не выпить...

— Верно! — ответил холоп. — Во спасение души всегда выпить можно... Наливай, что ли!..

Спустя совсем мало времени он уже говорил заплетающимся языком всякие несуразности, то и дело вскидывал на стол локти и примащивался головою на протянутых руках, как бы одолеваемый дремотой, закрывал глаза, зевал и наконец вдруг замер без движения. Видя все это, Гассан и Мегмет переглядывались между собою и загадочно улыбались.

— Выпьем, что ли, еще, душа мой? — сказал первый и толкнул Сергея.

Тот промычал в ответ что-то несуразное, бессмысленное.

— Готов, — тихо произнес Мегмет. — Ты, Гассан, сильнее его потряси да потолкай.

— Чего еще? Разве не видишь? — отозвался тот, но все-таки последовал совету и сильно затряс Сергея за плечо.

— П-шел! — отмахнулся тот и вдруг скатился с лавки на пол.

Гассан и Мегмет переглянулись.

— Связать его, что ли? — спросил первый.

— Чего там! — отозвался второй. — До утра проспит... И сонного зелья не понадобилось... Вон и те уже готовы!

Действительно, все люди Грушецкого, кто где сидел, там и заснули...

— До утра проспят, не просыпаясь, — проворчал Гассан, — а там вернется господин, скажет, что делать... Теперь пойти к Асе, сказать ей, что и как...

В своеобразном "гареме" князя Василия немедленно после его отъезда начался горячий спор. Как только вернулась от своего господина старая Ася, к ней сейчас же кинулась красавица Зюлейка.

— Что, что он? — так и застрекотала она, обнимая старуху и по-детски нежно ласкаясь к ней. — Сказал что-нибудь?

Ася, сумрачно глядя в сторону, утверди-

тельно кивнула головой.

— Что, что он приказал? — впилась в лицо старухи своим огненным взором красавица-персиянка. — Ну скажи, Лея, не томи меня!..

Ася молчала.

— А, не хочешь говорить! — пылко выкрикнула Зюлейка. — Ты, стало быть, не любишь меня? Разлюбила? Уж верно об этой русской он тебе приказ отдал? Скажи, о ней?

— Да!

— Ну, я так и знала это. Сердце мое бедное чуяло беду! О, горе мне, горе! В чужой, дикой стране, пленница я горемычная... Одна, никого у меня нет, все недруги только кругом.

Зюлейка как сумасшедшая заметалась по горнице. Она разорвала у себя на груди одежду, царапала ногтями обнажившееся тело, дико визжала, а потом стала прямо-таки выть.

— Перестань! — пробовала уломать ее Ася.

— Не перестану! — упрямо ответила персиянка. — Скажи, что он тебе приказал?..

— Да пойми ты, дитя неразумное, что не могу я: ведь господин приказал ни одним словом не обмолвливаясь... Убьет он меня...

— А ежели ты мне не скажешь, так я убью себя. Ну Ася, ну милая, пожалей ты меня! Отца у меня убили, мать сама зарезалась, сестер в Турцию увели, одна ты у меня... И ты-то меня пожалеть не хочешь?

Она плакала так искренне, ласкалась так нежно, что Ася стала заметно сдаваться.

— Ну, что тебе эта русская девчонка? — спросила она. — И чего ты за нее так беспокоишься, голову теряешь, беснуешься... Жалко, что ли, тебе! Пусть господин позабавится, если ему охота на то пришла...

— Позабавится! — воскликнула Зюлейка. — А я-то?

— Ты что же? Ты останешься, как была...

— Кто знает! Хороша эта русская девушка, таких я еще и не видывала... Как я могу ей господина отдать? Он теперь думает, что только позабавиться хочет, а потом ее из сердца легко не выбросит... Полюбит он ее, а на меня и глядеть не станет. Вот чего я боюсь. Ну, скажи, Ася, скажи! Ты добрая, ты хорошая... Я знаю, что ты меня любишь! Прости ты меня, если я тебя обидела. Не сердись, скажи мне на ушко, что господин тебе приказал!

Говоря так, Зюлейка все с большей и большей нежностью ласкалась к безобразной старухе. Она крепко обнимала ее, осыпала градом поцелуев, называла разными нежными именами. Ася мякла все более и более.

— Вот пристала-то! — притворись сердитой, заворчала она. — Скажи да скажи, что господин приказал! А то он приказал, чтобы и старуху, и молодую опоить сонным зельем, а потом как девчонка заснет непробудным сном, впустить его к ней... Тебя приказал на эту ночь куда-нибудь подальше убрать...

— И как же, Ася, ты осмелишься пойти на это? — спросила Зюлейка, вся дрожа от волнения.

— А разве я могу послушаться? Я — раба и должна повиноваться своему господину.

— Да, это так, — согласилась персиянка. — Но ты вспомни, что прежде чем быть рабой, ты служила огню, была жрицей в храме огня и тебе ведомы были многие тайны, другим недоступные...

— Да, это так! — вздохнула Ася.

— А теперь ты осмеливаешься начать дело, не зная угодно ли оно Всемогущему Существу...

ству? Ты хочешь, чтобы гнев его обратился на твою голову? Берегись! Всемогущее Существо жестоко наказывает тебя... Ты что? Ты стара, но у тебя в твоей стране остались сыновья, дочери. Они будут страдать из-за твоей покорности...

Эти слова произвели на Асю впечатление. Она дрожала всем телом; видно было, что испуг овладел ею.

— Что же мне делать? — простонала она. — Что делать?

— Ты не знаешь? — уже торжествующе спросила Зюлейка.

— Ох, когда бы я знала! — захныкала старуха. — Научи меня, скажи, разум мой помутился...

— Вызови духа огня, спроси его! Пусть он покажет тебе судьбу этой русской, и поступи так, как желает божество. Или твои чары уже перестали действовать?

— Нет, нет! Дух огня благосклонен ко мне, но чтобы узнать, что нам нужно, необходимо присутствие этой русской девчонки.

— Только-то? — воскликнула Зюлейка. — Ну, я помогу тебе, моя бедная, добрая Ася: я

приведу ее к тебе, а ты вызови духа огня и пусть он поведает тебе свою волю.

Х

СРЕДИ ЖЕНЩИН

Оставшись одна, старая Ася сперва заулыбалась отвратительной улыбкой, а потом беззвучно засмеялась. От этого она стала еще омерзительнее, еще безобразнее. Ее нос загнулся книзу еще более, беззубый рот зиял, как расщелина, а глаза заблестели, как блещут глаза волка, почуявшего близкую добычу.

— Ой, молодость, молодость, — закивала она в такт шепоту своей безобразной головой, — самонадеянная, бесшабашная молодость! Бедная Зюлейка! Она и впрямь думает, что она и умнее, и хитрее меня... Она теперь уверена, что старая Ася пошла на ее удочку, а между тем она сама же попала в расставленные мною тенета! Да, да! Господин приказал мне сделать так, чтобы эта русская девочка полюбила его, полюбила без ума, без памяти, наяву, когда проснется завтра. Я

должна сделать заклинания над ней и непременно не над сонной, а над бодрствующей и непременно нужно сделать так, чтобы она сама, по доброй своей воле, пришла к моему огню. Она боится старой Аси, а теперь Зюлейка сама приведет ее ко мне...

Наступило молчание. Старуха прислушалась. Кругом царила глубокая тишина.

— Русскую страшит моя старость, — забормотала опять Ася, — и не может она понять, что Ася когда-то была молода и прекрасна, как она, что Асю любили удальцы, прославившие Иран своей храбростью, что певцы слагали ей свои чудные песни... Да, было время! И Испагань, и Тавриз говорили с восторгом об Асе, прекрасной жрице огня. Все прошло! Все унесло злое время... Теперь Ася безобразна, теперь она ненавидит молодость и красоту. Она мстит им за то, что они ушли от нее. Да, да! Пусть страдает эта русская девчонка! Я отдам ее господину, он сделает ее несчастной, а проснется она еще более несчастной: она будет томиться любовью к господину, а он, сорвав цветок наслаждения, будет смеяться над ее любовью...

Она остановилась и прислушалась. В соседних покоях было тихо.

Старуха забеспокоилась и заворчала:

— Что же не идет Зюлейка? Где русская девчонка? Гей мои духи огня, соберитесь на зов вашей повелительницы, послужите мне, как служили прежде!.. Зову вас, сбирайтесь со всех сторон света, есть дело! Сбирайтесь, приказываю вам, молю вас!

Выкрикивая все это, старуха кривлялась, корчилась, извивалась; ее всю так и дергало: очевидно, Ася пришла в экстаз и теперь, она способна была произвести потрясающее впечатление на нервного или суеверного человека.

Послышались шелест тяжелых материй и легкие шаги.

Дверь распахнулась, и в покой вошли, почти впорхнули Зюлейка и Ганночка. Молодая персиянка зорко поглядела на старуху. По всей вероятности она уже не раз видела Асю в таком состоянии. Ее глаза заискрились, она не удержалась и громко захлопала в ладоши.

— Так, так! — даже слегка припрыгнула впечатлительная Зюлейка и шепнула Ган-

ночке: — Ты — счастливица, сестричка: Асю посетили ее духи огня, и теперь она скажет тебе всю правду... Только не нужно бояться, они не сделают зла.

Ганночка смотрела на безобразно кривляющуюся и дергавшуюся старуху с отвращением и испугом; она начинала чувствовать, что вокруг нее творится что-то особенное.

Правда, Зюлейка была с нею бурно-ласкова, но Ганночка совсем не привыкла к таким ласкам, и они не на шутку пугали ее. Она очень удивилась тому, что ее мамушка вдруг размаялась в тепле, не могла преодолеть дремоту и заснула столь крепко, что как ни тормошила ее боярышня, а разбудить не разбудила. Старушка что-то мычала во сне, но глаз не открывала и лежала пласт-пластом. Ганночке это сперва показалось очень смешным — старушка уморительно морщилась, пыталась разомкнуть глаза; но потом молодой девушке стало и скучно, и грустно. Зюлейка, уговаривавшая Асю, долго не приходила, и Ганночка от души обрадовалась, когда наконец увидела ее. Все-таки это была женщина, молодая, красивая, и притом же она ка-

залась Ганночке и доброй, и полюбившей ее.

Зюлейке было легко уговорить скучавшую гостью пойти узнать свое будущее: ведь девушки так любят всякие гадания, кто из них не поддастся соблазну заглянуть в неведомую даль грядущего и увидеть, что их там ожидает?

— Да может быть страшно будет? — боязливо спросила Ганночка.

— Нет, нет! — поспешила успокоить ее Зюлейка. — Зачем страшно! Ася — ворожея умелая... Она все тебе покажет... Суженого своего увидишь... А я буду с тобой рядом, никуда не убегу. Я буду тебя за руку держать, и ты меня держи... Вот и не будет страшно...

Ганночка все еще колебалась.

— Идем, идем скорее, — заторопила ее молоденькая персиянка, — а то еще твоя старуха проснется, она тебя не отпустит... Пойдем скорее, пока она спит!

Молодая девушка боязливо поглядывала на спящую мамку и не решалась последовать за своей пылкой подругой.

Та заметила эту нерешительность.

— Ай-ай, какая же ты! — заговорила она. —

Ну не хочешь, как хочешь, не пойдём!.. А как Ася гадает-то хорошо! Еще у нас в Испани все, кто хотел свою судьбу узнать, к ней шли. И всем она правду говорила... Ай, как верно говорила! Расскажет, как на ладони выложит! Так-то верно, так-то верно!

Голос Зюлейки звучал так вкрадчиво, ее убеждения были так соблазнительны, что Ганночка в конце концов поддалась искушению.

— Ну, пойдём, милая, что ли, — сказала она и даже вздохнула при этом. — Только чур, уговор: ежели очень страшно будет, так я убегу...

Зюлейка с радости осыпала свою молодую гостью градом поцелуев.

— О, ты увидишь, что все хорошо будет, — воскликнула она, — я за тебя рада, ты увидишь все, что тебя ждет в грядущем. Скорее, скорее пойдём!

Что заставляло Зюлейку так радоваться? Пылкая персиянка была искренна в проявлениях своих чувств. Она не считала русскую гостью соперницей себе, не считала, быть может, потому, что не любила князя Василия и

даже ненавидела его со всей пылкостью своего горячего, порывистого сердца. Она решила во что бы то ни стало спасти Ганночку, вырвать ее из нечистых объятий Агадар-Ковранского, хотя бы только для того, чтобы досадить ему.

Чем была ей в самом деле эта молоденькая гостья? Так, красивой звездочкой, мелькнувшей в кромешном мраке ее неволи. Но Зюлейка не думала об этом; для нее было главное во что бы то ни стало разбить замыслы ненавистного ей человека, и ради этого она сама пошла бы на все. Она была уверена в своей власти над старой Асей, единственным живым существом, с которым она могла вспоминать свою далекую знойную родину, но вместе с тем знала, что Ася считала себя рабою, и потому воля ее господина была для нее священна. Но для Аси было нечто высшее, чем дикая воля князя Агадар-Ковранского: Ася была огнепоклонницей и веровала, что священный дух огня правит миром и судьбою всех живущих. На родине она была служительницей огня, но и в неволе ее благоговение пред ним нисколько не ослабло, а напро-

тив, еще усилилось, потому что старуха, потерявшая все, только и жила надеждой, что священный огонь возвратит ей потерянную свободу, и то, чего лишила ее тяжкая неволя. Старуха зорко поглядела на молодую гостью и кивнула головой в ее сторону:

— А не испугается девчонка, когда явится дух огня? Страшен его лик, голос его — что гром, пламя его сжигает тех, кто выйдет из зачарованного круга... Смотри, — обратилась она к боярышне Грушецкой, — будь тверда, если желаешь узнать, что ждет тебя... Ты можешь увидеть ужасное, так собери все свои силы и ни шага вперед, ни шага назад! Можешь ты это?

Ганночка чувствовала, как замирает в ее груди сердце, но отступить ей не хотелось. Разожженное любопытство победило робость.

— Могу! — чуть слышно пролепетала она.

— Ты твердо решила?

— Да!

— Тогда пойдём!

Старуха с такой живостью вскочила со скамьи, словно к ней вернулись и молодость, и силы.

— Пойдем, пойдем же скорей! — повторила она. — Наступает ночь, кто знает, что случится до утра!

Зловеще прозвучали эти ее слова. Ганночка так и задрожала, услышав их. Она уже хотела отказаться от гадания, убежать назад к своей старой мамушке, но Ася с удивительной для ее возраста легкостью и живостью вышла из покоя. Зюлейка потянула свою гостью за собой, и Ганночка почувствовала, что у нее не хватает сил для сопротивления...

Вся бледная, с туманом в глазах, следовала она за молодой персиянкой, шептавшей ей на ходу:

— Не бойся, не бойся! Я с тобою... Потом сама меня благодарить будешь... Да и как поблагодаришь-то!

Они шли темным, все понижавшимся переходом, заканчивавшимся крутою лестницей. Было темно, хоть глаз выколи. В лицо Ганночки пахнуло удушливой сыростью. Она поняла, что лестница вела в какой-то подземный погреб; ей хотелось убежать, но вряд ли она нашла бы назад дорогу среди тьмы крошечной. Оставалось только одно: послушно

следовать за Зюлейкой...

— Стойте здесь, — раздался в темноте голос Аси, — не двигайтесь ни шагу, пока я не позову вас!

Последние слова прозвучали откуда-то издалека, снизу.

Ганночка чувствовала, что ее голова кружится, в глазах ходили огненные блески, сердце так и колотилось в груди.

ХІ

ЛУЧ НАДЕЖДЫ

Старый Сергей был хитер и находчив. Он сообразил, что в том положении, в каком очутились они, силою им ничего не сделать. Оставалась только хитрость. Недаром старик вырос среди литовских трущоб и с детства бродил по дубравам, охотясь на их обитателей. Закон приспособления сказался в нем, необходимость выучила его всяким хитростям, развила наблюдательность, приучила ни в каких обстоятельствах не терять присутствия духа. Все это он сохранил до старости, и теперь эти качества пригодились ему.

Немного поприглядевшись, он смекнул, что его подпаивают не просто так, ради гостеприимства, а с какой-то особою, пока ему неведомой целью. Поэтому он решил, что раз это так, то нужно пойти врагам навстречу. Ему ли, старому холопу, не суметь притвориться! Ведь всю жизнь он только и делал, что притворялся, не один раз господина обманывал и от батогов ускользал, так чего же тут маху давать?

Посидев немного за столом и выпив для виду еще хмельной браги, Сергей, как уже известно читателям, свалился под стол и громко-громко захрапел. Однако это было ловким притворством: старик был трезв, и его мысль работала с такою быстротою, как никогда.

Простодушные Гассан и Мегмет поддались на удочку. Они были убеждены, что Серега допился до бесчувствия, а он из-под стола слышал, что они говорили, и, чуть приоткрыв глаза, наблюдал за выражением их лиц.

Он быстро сообразил, что дело хуже, чем он мог предполагать: его ненаглядной боярышне Агафье Семеновне грозила беда.

"Как тут быть, как быть?" — вертелся в его

мозгу назойливый вопрос, но на него не было ответа.

Сергея совсем терялся в догадках; ведь он даже не знал, где его боярышня, как добратся до нее.

Он лежал под столом и страшно мучился, еще никогда не чувствуя себя настолько беспомощным, как теперь.

— А что, — произнес над ним Гассан, — пожалуй нужно их рядом всех сложить, бок-о-бок...

— Верно! — согласился Мегмет. — Все они тогда и на виду, и на счету будут...

— Тогда постелим шкуры на пол, да и свалим всех этих пьяниц, — сказал Гассан. — Пусть спят, сколько хотят!

Он крикнул что-то на восточном наречии другим слугам; те дружно засмеялись и принялись готовить постели перепившимся холопам. Потом они довольно-таки бесцеремонно принялись стаскивать их к разостланным шкурам и швырять их как поленья дров. Пьяные до бесчувствия люди мычали, бранились, даже отмахивались, но глаз не размыкали и затихали тотчас же, как только попадали на

мягкое, пушистое и теплое ложе.

— Этого поосторожнее, — сказал Мегмет, как только очередь дошла до Сереги, — он словно бы и пил меньше всех, вдруг еще проснется, после опять уложить будет трудно.

Они бережно подняли Сергея; тот, продолжая притворяться пьяным, заметался, забрыкался, замычал что-то непонятное, но глаз не открыл. Гассан и Мегмет громко смеялись. Теперь они окончательно убедились, что и старый холоп спит так же крепко, как и все остальные.

Побыв еще немного в людском покое, все люди Агадар-Ковранского ушли, вполне уверенные, что гости еще долго проспят мертвым сном. И действительно в покое раздавались громкое храпенье и сопенье на все лады. Серега лежал, не двигаясь; мысли вихрем проносились в его мозгу, но он решительно не мог ничего придумать. Все, что приходило ему в голову, казалось совершенно негодным, неисполнимым, и бедный старик готов был расплакаться от сознания своего полного бессилия.

Вдруг около него что-то зашевелилось и

чья-то рука легко и осторожно дернула его за ногу.

— Дядя Сергей, а, дядя Сергей! — услышал он тихий шепот.

Сергей сейчас же по голосу узнал спрашивающего и также чуть слышно шепотом спросил:

— Это ты, Федюнька?

— Я, дяденька, я самый...

— Чего тебе? Я-то думал, что и ты, как остальные, напился...

— Как можно, дяденька! Нешто ты не знаешь, что я хмельного отродясь в рот не брал?..

— То-то и оно... Уж и удивился же я, увидав, что и ты валяешься...

— А я притворялся. Я ведь по ихнему-то понимаю. Помнишь, у нас полоняник-калмыченок жил, так я от него по-ихнему малость насобачился... Калмыки, они из-под Астрахани. Слышь, дядя, плохо наше дело. Неспроста они угощали нас-то: им их князь приказал. Плохо, говорю я, дело: боярышню нашу вызволять надобно. Нас-то тут вином накачивали, а мамку та старая ведьма сонным зельем опоила... Вишь ты, князь здешний до нашей бо-

ырышни добирается.

— Что же нам делать, Федюшка? — чуть не в полный голос воскликнул Сергей, приподнимаясь на своем ложе. — Скажи хоть ты... Господь иногда младенцев умудряет...

Федюшка тихо засмеялся и сказал:

— Я-то, дядя Сергей, не младенец, а, что делать, знаю...

— Что, милый? — заволновался старик. — Говори скорее! Веришь ли, все мое сердечушко изнылось. Ну, говори скорее, что делать?

— Что? Да боярышню прежде всего вызволять...

— Тьфу, дурень, — рассердился Сергей, — это я и без тебя знаю... Ты мне скажи, как...

— И это скажу... Добратся до нее нужно... Я-то дорогу заметил... Ежели хочешь, поползем — я впереди, ты за мной... Только так ползти нужно, как змеи ползают, чтобы даже здешняя мышь не почуяла, что мы близко... Вот как! Сможешь?

— Ой, могу! Да чтобы я чего не смог для боярышни ненаглядной?.. Вали, Федя, а я не отстану.

— Тш! — шепнул Федька. — Слышь, идут

сюда калмыцкие нехристи! — и он проворно юркнул в сторону на свое место.

Федька не ошибался. Дверь хлопнула, и в покой вошли Гассан и Мегмет с коптившими, тускло горевшими светцами.

Было уже совсем темно. Гассан и Мегмет, доверенные люди князя Василия, угощая гостей, и сами выпили, вопреки закону Магомета, а потому их лица были красны, и они даже слегка пошатывались.

— Спят! — проговорил первый, направляя тусклый свет на наезжих холопов.

— Без просыпа, — ответил Мегмет. — Все ли?

— Все! — пересчитал спавших Гассан. — Поди, и нам теперь можно вздремнуть до князя... Стеречь их нечего...

— Стоит ли? Пожалуй, господин-то теперь скоро примчится...

— Услышим! Со двора тревогу подадут, а мне спать куда как охота... Ты как там хочешь, а я прилягу...

Он подошел к столу и одним духом осушил большой ковш браги, а потом растянулся на лавке и громко зевнул.

Пример Гассана соблазнил и Мегмета. Он тоже принялся за брагу и осушил целых два ковша; после этого он повертелся, походил по покою, подошел к спавшим гостям, выглянул в окно, где ни зги не было видно, и тоже растянулся на другой лавке. Скоро их храпенье слилось с храпением пьяных холопов.

XII ТРУДНОЕ ДЕЛО

Видевший все это Сергей потерял всякую надежду на успех предприятия. Он лежал, не шевелясь, с лицом, уткнутым в мех шкуры, и слезы так и подступали к горлу: его душило отчаяние, все было потеряно, на спасение боярышни идти было невозможно...

Вдруг Сергею показалось, что тускло мерцавший свет слегка заколебался. Он приподнял голову и увидел, что у стола мелькала какая-то фигура, старавшаяся задуть огонь.

"Федюнька! — решил Сергей. — Старается молодец... Да сгубит всех он нас", — промелькнула тревожная мысль.

Как раз в это время огонь погас, и покой

погрузился в крошечную тьму.

Сергея от страха дышать даже перестало. Он был уверен, что калмыки сейчас же проснутся и поднимут тревогу, но по-прежнему в людском покое слышалось только храпенье на все лады. Очевидно Гассан и Мегмет спали так крепко, что их не разбудило даже внезапное наступление темноты.

"Ай, да молодец, Федюнька!" — подумал Сергей с восхищением в душе и опять почувствовал, что его кто-то тормошит за ногу.

— Это ты, Федюнька? — спросил шепотом старый холоп.

— Я, я, дядя Серега, тише ты! — раздался ответ среди тьмы. — Вот тебе мой ременный пояс, возьми его в зубы и ползи за мной, только помни — как змея... Я дорогу к дверям знаю...

Через мгновение они уже ползли по полу. Сергей, крепко державший в зубах пояс Федюньки, молился всем святым и в то же время возторгался подростком.

"Истинно Господь послал нам такого паренька!" — думал он.

Федюнька осторожно, не произведя ни малейшего шума, открыл дверь и выполз за по-

рог. Сергей последовал за ним. Он не видал, но почувствовал, как затворилась за ними бесшумно дверь. Федя быстро вскочил на ноги.

— Вставай и ты, дядя Сергей, — уже не так тихо произнес он. — Да не бойся, будь посмелей, а то у нас ничего не выйдет.

— А куда идти-то? — спросил, ничего не видя пред собой, Сергей. — Куда, милый?

— Иди за мной! Вынь пояс-то из зубов, в руке держи, да не выпускай!.. Ну, пошевеливайся! Времени у нас мало... Трогайся!

Старик беспрекословно повиновался своему юному товарищу. Он даже и не подозревал, что Федюнька, бывший среди дворни Грушецкого на побегушках, мог оказаться таким смышленным малым. Да и положение было таково, что волей-неволей нужно было подчиниться ему. Сергей послушно шел за Федюнькой. Так они, крадучись вдоль стены, добрались до конца перехода и уперлись в какую-то дверь.

— Стой, дядя, — шепнул Сергею подросток, — обожди малость, я взгляну, что там такое...

Не выпуская ремня, который был путеводной нитью для Сергея, Федя тихонько приотворил дверь. За нею было так же темно, как и в переходе.

— Шагай, дядя Сергей, смело! — проговорил было Федор, но вдруг стремительно метнулся назад, шепча: — Идут, со светом идут!

Они притаились около двери; Сергей горячо молился, чтобы и на этот раз пронесло беду; Федор согнулся, нащупывая на всякий случай за голенищем рукоять ножа.

— Чу, — прошептал он, выпрямляясь, — да там никак беда!

На самом деле до них доносились женские голоса.

Это Зюлейка и Ганночка спешили к старой Асе.

Боярышня Грушецкая даже и не подозревала, что так близко от нее находятся беззаветно преданные ей люди; те в свою очередь и на мгновенье не подумали, что их любимица-боярышня находится так близко от них.

Ганночка вся была охвачена суеверным страхом, когда осталась одна пред входом в тот погреб, куда, по словам Зюлейки, удали-

лась Ася, чтобы произвести свои чародейские заклинания. Как ей хотелось возвратиться обратно, как замирало ее бедное сердечко при одной только мысли, что ее ожидает впереди что-то неведомо-страшное! Она, дрожа всем своим юным телом, ожидала призывного оклика, но его не было долго, очень долго. Девушка слышала, как где-то капала и булькала вода; то и дело из каких-то невидимых отдушин налетал ветер, слышалось его тихое, заунывное посвистывание. Суеверный ужас в душе молодой девушки все разрастался. Наконец среди безмолвия раздался хриплый, визгливый крик старухи. Это Ася звала к себе Ганночку.

ХІІІ

В ТУМАНЕ ГРЯДУЩЕГО

Не помня себя от страха, Ганночка двинулась вперед на призывный оклик.

— Идем, идем! — как во сне, услышала она голос Зюлейки, откликнувшейся на крик старухи. — Все ли у тебя готово, Ася?

Ганночке показалось, что этот голос звучал где-то совсем далеко от нее. В то же время ей казалось, будто не сама она идет, а ее несет вперед, то и дело колыша, какая-то неведомая волна.

Но вот пред ее глазами блеснул яркий, синеватый огонек. Они были в подвале, и Ганночка увидела пред собою небольшой горевший, но не дымивший костер и около него женщину.

Она ни за что не признала бы в этой женщине у костра старой безобразной Аси, той самой Аси, которая возбуждала в ней и страх, и отвращение.

У костра стояла, гордо выпрямившись, не молодая, но и вовсе не старая и отнюдь не

безобразная женщина. На ней был странный, никогда не виданный на Руси балахон, красивый, с позументами, нашитыми на нем так, что издали они казались огненными языками. Но голове женщины был высокий остроконечный, украшенный такими же позументами-"языками", колпак, сдвинутый на затылок и открывавший лицо.

От отблеска синего огня в костре, это лицо казалось лицом не живого человека, а мертвеца, — так оно было иссиня бледно. Однако взглядевшись, Ганночка, хотя и с трудом, все-таки признала Асю. Глаза старухи так и горели огоньками, когда она взглядывала на русскую девушку; ее грудь дышала столь порывисто, что по временам казалось, будто Ася задыхается. Из горла то и дело вырывались хриплые, нечленораздельные звуки. Ася что-то говорила, но Ганночка совершенно не понимала ее. В руках у Аси был длинный, тонкий, черный жезл, которым она размахивала из стороны в сторону и при каждом взмахе конец этого жезла вспыхивал синеватыми огоньками.

Во всем погребе разливался сильный слад-

коватый запах. Ганночка, едва войдя, уже почувствовала, что у нее кружится голова. Однако она пересилила себя и храбро ждала, что будет дальше.

Зюлейка была около нее, и боярышня чувствовала, как дрожит в ее руке рука персиянки. Ясно было, что Зюлейка ощущала страх, но и она старалась держаться, не показывая вида, что боится.

Войдя, обе женщины остановились у порога; Ася повелительно протянула вперед свой жезл, как бы запрещаая им идти далее. Ганночка испугалась, когда пред нею сверкнули синие огоньки с острия жезла. Она так и замерла на месте, ожидая, что теперь потребует от нее это страшное существо.

Ася между тем сделала шаг вперед и начала чертить своим жезлом на полу подвала большой полукруг, вполне достаточный, чтобы в середине его могли поместиться и Ганночка, и Зюлейка. Конец жезла, описавший этот полукруг, оставил после себя синевато-огненный след, слабо мерцавший и слегка дымившийся. После этого Ася повелительным движением указала Ганночке и Зюлейке

место в огненной дуге, где они должны были стать, и, когда это было исполнено, острием жезла соединила концы линии, так что образовался круг, в центре которого очутились теперь обе женщины.

— Мне страшно, страшно! — дрожа всем телом, прошептала Ганночка. — Я хочу уйти...

— Нет, нет! — также шепотом ответила ей Зюлейка. — Это невозможно... Нельзя уйти... Духи огня, подчиненные Асе, уже здесь, они спялят нас, если мы выйдем из круга.

— Долго ли еще будет этот страх? — опять спросила Ганночка.

— Не знаю! — услышала она дрожащий голос Зюлейки. — Мы должны оставаться, пока нас не выпустит Ася... Тише, тише! Слышишь?

Ганночка пока ничего еще не слыхала.

— Слушай, — заговорила Зюлейка, — духи здесь, я слышу их голоса... Собери свои силы, будь мужественной...

Напрягши слух, Ганночка различила поблизости какое-то бульканье. Казалось, что кипела вода в каком-то невидимом для глаз котле. На костре с синим огнем не было ниче-

го, звуки раздавались где-то позади обеих гадальщиц. В них не было ничего страшного, но невидимое всегда пугает, и не одних только робких женщин. А тут как раз Ася подошла вплотную к кругу и устремила свои глаза на Ганночку. Та не могла выдержать этот сверкающий взгляд и закрылась от него рукою.

— Уйди, уйди, проклятая! — довольно громко залепетала она. — Не нужно мне твоего колдовства... Ничего я не хочу знать... Ничего! Сгинь, рассыпья! Да воскреснет Бог!..

Но ничто не действовало: Ася не уходила и продолжала смотреть на русскую девушку. Та чувствовала нечто непостижимое: ей казалось, что какие-то невидимые волны льются из этих страшных глаз прямо в ее душу, льются и мутят остатки разума, заставляют кружиться голову, лишают ее воли...

— Сгинь, рассыпья! — еще раз простонала девушка. — Зачем, зачем это?

Ася водила перед ее глазами своим сверкающим жезлом, и Ганночка начинала чувствовать, что ею овладевает непреодолимая дремота. Она даже на мгновение закрыла глаза, а когда вновь разомкнула их, то увидела, что

Ася стоит около своего костра с простертой вперед рукой.

Теперь Ганночке уже совсем не было страшно. Она была спокойна, недавний ужас отошел от нее. Она оглянулась и увидела, что Зюлейка опустилась на колена у ее ног и, закрыв лицо полами платья, вся трепещет.

"Чего это она? — подумала Ганночка, — Я же вот ничего не боюсь..."

Она забыла о своем недавнем страхе, и теперь только одно любопытство владело ею.

Совершенно спокойно, без дрожи и трепета, смотрела она на то, что происходило у костра.

Пока Ася держала над ним свою руку, сильнее пламя в нем то и дело вспыхивало длинными, синеватыми язычками. От этих язычков тянулся теперь дым, расплывавшийся сейчас же во все стороны. Сладковатый запах становился все более и более ощутимым — так и щекотал ноздри Ганночки. Ее голова опять закружилась, — дым пахнул прямо на нее, но в это мгновение Ася, сорвавшись со своего места, закружилась вокруг костра в неистово-бешеной пляске. Ее движения были

так быстры, что Ганночка не улавливала их. Она слышала дикие взвизгивания кружившейся колдуньи, но почти не различала ее в сгущавшемся все более и более дыму. Так длилось некоторое время.

Наконец огонь в костре ярко вспыхнул и поднялся вверх большим ярко-багровым столбом. Сейчас же пламя опало, и пред глазами изумленной Ганночки была теперь словно завеса из белесоватого тумана.

Ганночка видела, что на этой завесе движутся какие-то неясные тени, весьма похожие на человеческие фигуры. С каждым мгновением эти тени вырисовывались все яснее и яснее. Скоро уже можно было разобрать все. Молодая девушка увидела какие-то постройки. Вглядываясь, она различила терема, палаты, невиданный ею кремль какого-то, очевидно большого, города.

Ей казалось, что она видит постройки этого чудного кремля. Среди них было много храмов с золочеными куполами на большой площади. С одной стороны этой площади она увидела высокие палаты с широким крыльцом, и словно кто-то сказал ей, что это — цар-

ский дворец.

Пред ним была масса народа с обнаженными головами, а наверху крыльца, окруженный сонмом бояр, степенных и важных, стоял бледный молодой человек в царском одеянии.

Ганночка вскрикнула, увидав этот призрак, и звук ее голоса глухо прозвучал под сводами погребя. То, что она видела, доставляло ей невыразимое удовольствие.

Девушка чувствовала себя несказанно счастливою; ей хотелось, чтобы видение длилось без конца. Но в это мгновение она услышала болезненный крик, и кто-то не грубо, но сильно схватил ее за руку. Это было столь неожиданно, что нервы Ганночки не выдержали, она отчаянно вскрикнула и лишилась сознания.

На дворе у княжеского дома ржали и фыркали лошади, люди кричали на разных языках, мелькали зловеще-багровые огни смоляных факелов; несмотря на глухую уже ночь, весь дом сразу ожил.

XIV

ВЫЗВОЛЕННАЯ БОЯРЫШНЯ

Рука столь грубо нарушившая очарование, во власти которого находилась Ганночка, была ей не совсем чужая. Это Серега и Федюнька, полные желания во что бы то ни стало вызволить свою красавицу-боярышню от грозившей ей позорной участи, наконец-то нашли ее.

Когда они, испуганные внезапно показавшимся светом и звуками человеческого голоса, дрожа и волнуясь, захлопнули дверь, то все-таки — по крайней мере Федюнька — не совсем потеряли свою бодрость и не забыли той цели, к которой стремились.

После той до дерзости смелой проделки, которую выкинули они, уйдя из-под носа своих спавших вблизи сторожей, их нервы уже попривыкли к опасности, и страх, этот предвестник близкой беды, минул.

— Дядя Серега! — прошептал Федюнька. — Слышь ты: мимо бабы шли... Да очнись ты, ишь ополоумел! Очнись, скажи хоть словеч-

КО...

Сергей взглянул на подростка, и ему стало стыдно Федьки, выглядевшего как ни в чем не бывало и даже улыбавшегося. Только длинный засапожный нож в его руках показывал, что он готов лицом к лицу встретить всякую опасность.

— Слышь, дядя Сергей, что я говорю, — толкал он старика под бок: — Бабы!

— Может, оборотни! — пробормотал в ответ тот, понимая, что ему в данном случае нужно хотя что-нибудь сказать.

— Чего там оборотни? Какие оборотни? — насмешливо проговорил подросток. — Ежели оборотни, так с ними всегда крестом да молитвой справиться можно. Это — настоящие бабы, как полагается...

Федор вдруг оборвался и на мгновение глубоко задумался.

— Слышь, дядя Серега, что я тебе скажу, — вдруг воскликнул он, — ведь там наша боярышня была!

— Да ну? — даже растопырил руки от удивления старик. — Врешь!

— Чего вру? По голосу узнал...

— Право врешь! И чего ей в чужом доме, ночью, по разным закоулкам шататься?.. Посуди сам, пойдет она?

— А вот пошла, — торжествующе, с сознанием собственного достоинства ответил Федор. — Мало ли что на свете бывает! — с философской рассудительностью закончил он.

Сергей все еще продолжал не верить, и Федор стал заметно волноваться.

— Ну, ты как там желаешь, — сознавая свое превосходство в создавшемся положении, проговорил он с неудовольствием, — хочешь за дверью стоять — стой, твое это дело, попадайся Гассанке с Мегметкой на зубы. А я пойду...

— Куда, куда, миленький? — засуетился Сергей, сильно обеспокоенный создавшейся перспективой остаться одному среди темного перехода совершенно незнакомого ему дома. — Куда ты пойдешь?

— Как куда? Куда шел: боярышню вызволять! — ответил Федор и смело отворил дверь в покой за переходом.

— Стой, Федя, стой, миленький! — засуетился перепуганный старик. — Ежели ты, так

и я за тобой. Вот только где твой ременный пояс? — шарил он во все стороны вокруг себя руками.

Федор тихо засмеялся и протянул ему руку, сказав:

— Держись!

Они вошли в неосвященный покой.

Ночь уже наступила; на небо взошла луна, и ее слабый свет лился внутрь покоя через слегка запотевшие окна. Благодаря этому вокруг смельчаков была не столько темь, сколько таинственная, порождавшая всюду тени полумгла. Кое-как, с большим трудом, но все-таки можно было оглядеться вокруг.

Было мертвенно тихо, и эта тишина, как казалось Сергею, веяла чем-то могильным. Он чувствовал оторопь, но ему стыдно было выказать ее пред подростком, и он старался держаться бодро.

— Ну, вот, — заворчал он, — говорил ты: "идем!". Пришли, пришли, а теперь куда?

— Постой, не торопи! — огрызнулся Федор, — Дай сообразить.

Он начал повертываться во все стороны, потом отошел к двери, через которую они

проникли в покой.

— Свет вот с этой, правой, стороны виднелся, — думал он вслух, — стало быть, шли отсюда, так что шли справа налево, выходит, стало быть, что нам нужно налево идти. Там-то дверь непременно должна быть! Поглядим...

Он начал осматривать стену, приходившуюся от него налево, и скоро радостно вскрикнул: он действительно нашел ход!

— Идем, дядя, идем, — потащил он за собой Серегу, — засапожник-то у тебя при себе?

— Нет, — с сокрушением ответил старик, — должно быть, обронил его, как ползли. Да и не нужно, я голым кулаком не хуже управлюсь...

— То-то! А то ведь идем мы с тобою неведомо куда, кого встретим — тоже неведомо. Может быть, боярышню-то отбивать придется.

— Ладно, — пробормотал старик, — не сдадим!

Они шли тем же понижающимся уступами переходом, по которому пред ними проходили Ганночка и молодая персиянка.

Идти им приходилось очень медленно,

цепляясь за стену, переступая шаг за шагом. Сергей скоро почувствовал утомление и должен был то и дело останавливаться. Это страшно злило Федора, но делать было нечего, не мог же он оставить товарища одного в темном переходе.

Наконец, спустившись по мокрым, скользким ступеням, они очутились у входа в подвал, где чародействовала старая Ася. Прежде всего они увидели пелену из дыма, образовавшую как бы стену, за которой им решительно ничего не было видно. Пред этой стеной, выпрямившись во весь рост, стояла с высоко поднятой головой их красавица-боярышня, а у ее ног полулежала молодая персиянка, которую Сергей уже не раз видел в эти часы.

— Смотри, смотри, — прошептал на ухо Сергею Федор, — там, за дымом, у окна, старая колдунья лежит...

— Тогда не зевай, парень, возьмем боярышню...

— Возьмем, возьмем, хотя бы силой. А то тут задохнется.

Теперь, уже не думая скрываться, старик и подросток кинулись к своей милой боярыш-

не Агашеньке, и Сергей схватил ее за руку как раз в то мгновение, когда она видела перед собою на высоком крыльце молодого бледного царевича.

Ганночка, почувствовав прикосновение мужских рук, вскрикнула, как бы пробуждаясь от тяжелого сна.

— Кто это? — дрожащим голосом проговорила она. — Где я?

— Молчи пока, боярышня милая, — услышала она в ответ знакомый голос Сергея. — Хотели злые люди погубить тебя, да мы подошли; уж мы-то тебя в обиду не дадим, скорее жизни лишимся, чем хоть волос с твоей головы упадет...

Он не договорил. Обессилившая от впечатлений Ганночка лишилась чувств. Она упала бы, если бы старый холоп не успел подхватить ее на руки. Федор не мог оказать ему помощь. Очнувшись от своего полузабытья Ася вцепилась в него, визжала, кусалась, царапалась. Федюнька, не будучи в силах освободиться от нее и не видя помощи от Сергея, быстро пришел в ярость.

— Отцепись, змея подколотная, — крикнул

он. — А, ты не хочешь! Так вот тебе!

Он со всей силы ударил старуху по голове рукоятью засапожного ножа. Та тихо вскрикнула и отвалилась от малого; Федор сильно толкнул ее, скорее отшвырнул прочь от себя и кинулся к Сергею, державшему в охапке боярышню и, видимо, положительно не соображавшему, что ему теперь нужно делать. Около них уже суетилась Зюлейка, очевидно тоже не понимавшая, что происходит вокруг нее. Персиянка что-то лепетала; ни Сергей, ни Федор не понимали ее, но они видели, что эта женщина настроена к ним отнюдь не враждебно, и быстро сообразили, что могут получить от нее помощь.

— Ну, ну, милая, — ласково заговорил Сергей, — проведи нас скорее, где мамушка нашей боярышни, а то нехорошо ей, воеводской дочери, по подвалам пребывать! Ну, ну, не кочевряжься, показывай, что ли, путь! Куда идти-то? А не то!

Сергей, слышавший поднявшуюся на дворе тревогу и боявшийся всякого промедления, сделал угрожающий жест.

— Да брось ты ее, — остановил старика Фе-

дор, — сами выберемся, той же дорогой пойдём. Ишь ты, ведунья проклятая, туда же: нашей боярышне колдовать вздумала! Идём, дядя, идём. Вот тут ихний фонаришко валяется, — ткнул он фонарь, который принесла с собой Зюлейка, и, подняв его, пошел вперед к выходу из подвала, в котором пахучий дым сгущался все более и более.

Зюлейка кинулась вперед; видимо, участь Аси нисколько не трогала ее и она словно позабыла о ней. Позади всех старый Серега нес в своих медвежьих объятиях бесчувственную Ганночку.

Когда они вышли в верхний переход, то тревога и суматоха распространились уже по всему дому.

— Что еще там случилось? — сумрачно проворчал Сергей. — Эх, только бы до мамушки добраться!

Это им удалось вполне благополучно, благодаря путеводительству Зюлейки. В покое, отведенном для гостей, было тихо; мамушка крепко спала на жарко истопленной лежанке. Ее сон был столь крепок, что, когда Сергей попробовал разбудить ее, это не удалось ему.

Они уложили все еще бесчувственную Ганночку на постель и около нее сейчас же при-
мостилась Зюлейка.

Так прошло несколько времени.

— Идут, — вдруг вся так и взметнулась Зюлейка, заслышав приближающийся к дверям их покоя шум, — господин идет!..

— Пусть идет, — спокойно проговорил Федор, вытаскивая нож.

Зюлейка тоже вытащила из складок своего платья длинный тонкий кинжал, а Сергей, у которого не было никакого оружия, схватил за конец тяжелую скамью.

Шум становился все ближе и ближе.

XV

В ЛЕСНОЙ ТРУЦОБЕ

Князь Василий себя не помнил, вынесшись от своего родного дома в адски-темный лес. Он хлестал мчавшегося вихрем коня, как будто боясь, что за ним будет погоня, которая опять вернет его назад и снова поставит перед неумолимой, как пробудившаяся совесть, теткой. Князь Василий спешил уйти, потому что боялся Марьи Ильинишны.

Впервые он послушался ее, вышел из ее воли. Он слышал ее угрозу и понимал, что старушка исполнит сказанное. Но страсть так мощно владела его существом, что даже и угроза боготворимой тетки не могла подавить ее веления.

— Пусть, пусть уходит! — говорил себе князь Василий. — Пусть все уходят, никого мне не нужно, никого! Пусть я один останусь на белом свете, но все-таки дедовская обида будет отмщена...

Однако, едва он подумал об отмщении дедовской обиды, как ему сейчас же пришли на

память слова Марьи Ильинишны. И вдруг его охватила невыразимая злоба против старушки, которую он всю жизнь по-детски пылко любил.

"Да, да, — со все возраставшим озлоблением думал он, — не твоя, старая карга, московская роденька обижена, от ворога страдала... Чужая обида, известно, не больна! Пусть бы кто-либо одного из твоих московских петухов тронул, так-то ли бы ты запела, а то чего требуешь? Чтобы я, князь Агадар-Ковранский, да за деда во сто крат не расплатился. Я! Да в моих жилах, может быть, кровь ордынских ханов течет, — от того-то я так всех московских бородачей и презираю. А тут простить, забыть. Нет, никогда!"

И князь Василий, словно ослепленный, с бешеной яростью принимался нахлестывать и так уже терявшего силы коня, бить его по крутым взмыленным бокам коваными каблуками своих тяжелых сапог. В душе его клокотало безумие, ярость слепила его.

Обуреваемый своими огневными думами о сладкой мести, князь не заметил того, как метался из стороны в сторону несчастный конь,

не понимавший, чего требует от него господин. Он под ударами рвался вперед, наскочив на попадавшиеся ему деревья, в диком ужасе отбрасывался от них прочь, садился в снег на задние ноги и снова, побуждаемый градом жестоких ударов, кидался вперед, не разбирая дороги, которую он давно уже потерял...

А князь Василий даже и не замечал этого. Он сознавал, что мчится по лесу, но обычен ли был его путь, о том он даже и не думал.

Кругом стояли вековые ели, сосны, опущенные снегом, сквозь их макушки лила свой слабый, кроткий свет луна. Гигантские, слегка колеблющиеся тени лежали на небольших лесных полянках и прогалинах, но ничего подобного не должно было быть на том пути, который вел от лесного поместья Агадар-Ковранского к его заезжему домику на опушке. Князь Василий не замечал даже того, что его измученный конь, делая гигантские скачки, то и дело проваливался в снег, иногда уходя в него выше груди, выкарабкивался опять, кидался дальше; но его силы заметно истощались, прыжки становились все мень-

ше и короче, он начинал часто спотыкаться, а его дыхание перешло уже в сплошное надры- вистое храпенье.

Всадник не замечал этого. Упоенный свои- ми думами, теми картинами, какие рисовало ему его расстроенное воображение, он старал- ся представить себе те моменты, когда внука оскорбителя его давно уже умершего деда очутится в полной его власти. Ни на одно мгновение князь Василий не допускал мыс- ли, что старая Ася осмелится послушаться его приказаний или случится что-нибудь такое, что помешает ей выполнить их.

Вообще князь Василий не признавал слу- чайностей там, где дело шло об исполнении его воли. Он даже не учитывал их, даже не считал возможным, чтобы его приказание осталось неисполненным и, чем сильнее бы- ла уверенность в этом, тем ярче рисовались картины того подлого дела, которое с такою отчетливостью задумал он.

Быть может, если бы Ганночка Грушецкая не была так хороша собою, то князь Василий был бы более благороден. Может быть, если бы на ее месте был ее отец, то и наследствен-

ная ссора тут же кончилась бы примирением. Но Ганночка пробудила в своевольном князе Василии дикую животную страсть. Он хотел ее всем пылом своей мятежной души, но в то же время знал, что насилие было бы скверной подлостью, которая навсегда легла бы позорным пятном на его честь и честь его рода. Не будучи в силах справиться со своими дикими желаниями, он подыскивал всевозможные оправдания для задуманного внезапно позорного преступления, и наиболее ярким из них была наследственная обида.

Но как только он переставал думать о мести, переставал рисовать себе картины своего будущего преступления, совесть где-то в тайниках его души начинала громко протестовать против задуманного, и это более всего приводило в ярость Василия. Он спешил подавить, заглушить этот ужасный голос, но ему не удавалось, и он, приходя в неистовую ярость, безумел, даже не соображая того, что путь в лесу уже потерян и что, не будь этого, он уже давно был бы в своем доме на опушке.

Вдруг измученный конь страшно захрапел и остановился, как вкопанный. Князь Агадар

осыпал его градом бешеных ударов и так рванул удила, что морда коня сразу окровавилась. Тогда животное обезумело. Инстинкт предупреждал его о какой-то близкой опасности, но теперь боль пересилила инстинктивный страх.

Конь, страшно храпя, взвился на дыбы; однако всадник удержался и продолжал сыпать удары. Животное, дико заржав, попыталось сделать гигантский прыжок, как бы желая переброситься через что-то, но сила изменила ему. Конь упал на передние ноги и глубоко зарылся в снег.

Князь Василий страшным толчком был выброшен из седла и упал через голову на снег. С проклятиями он сейчас же вскочил на ноги, кинулся к коню, схватил его за поводья, но в следующий же момент невольно отступил назад, и по всему его телу вдруг пробежал холодок оторопи.

При слабом свете луны он увидел поднимавшуюся из-под снега чудовищную голову. Ярко горели громадные глаза, лязгали своими клыками страшные челюсти огромной пасти. Из больших ноздрей вырывалось обращавше-

еся в пар смрадное дыхание. За головой показались огромные плечи, к остолбеневшему князю Василию тянулись толстые, словно обрубки бревен, мохнатые с ужасными когтями лапы. Это выходил из берлоги внезапно потревоженный медведь.

Агадар стоял как вкопанный, крепко ухватив рукоять своего охотничьего ножа, и глядел пред собой.

Чудовище медленно поднималось из своего зимнего логова. Это был медведь-великан, каких и в те времена было немного. Он вытянулся весь из своей берлоги, и, поднявшись на дыбы, медленно переваливаясь с ноги на ногу, колотя себя лапами по груди, пошел прямо на князя.

Князь Василий понял, какая опасность надвигается на него, и обнажил нож. Чудовище подходило все ближе и ближе, его смрадное дыхание обдавало князя Василия. В инстинктивном ужасе он подался назад и сейчас же со стоном упал: он чувствовал страшную боль в ноге и понял, что свихнул ее при падении.

XVI

ЗА ПОДМОГОЮ

Три вершника Грушецкого, о которых вспомнил старый Серега, не видя их среди остальной челяди своего поезда, незаметно отделились от него еще в то время, когда обоз подходил к домику Агадар-Ковранского.

Парни действовали на свой риск и страх. Они твердо памятовали то совещание, которое было между ними, когда среди леса у них совершенно неожиданно сломались полозья у кибитки с боярышней, и считали, что ехать на ближнее селение за подмогой — дело уже решенное. Поэтому-то, недолго думая и никому не сказываясь, даже старому Сереге, едва поезд с величайшим трудом двинулся вперед по указанному Федькой направлению, они отделились от него и повернули назад. Оттого-то и не заметил старый Сергей того, как они ушли.

Все трое вершников были молодые, здоровые парни, не любившие ни над чем особенно долго задумываться. Они были литовцы и

выросли в лесных труппах, где всякого зверья было куда больше, чем людей. У себя на родине они находили любую дорогу, там им была известна каждая лесная тропка, но здесь все им было чужое: даже деревья казались совсем иными.

Но это нисколько не смущало молодцов.

— Ладно, — сказал один из них, когда они углубились в лес (дорога к поместью Агадар-Ковранского была ими примечена, когда они проезжали мимо нее), — не заплутаемся. Не впервой в лесу-то бывать!

— А ночь? — опасливо заметил другой. — Стемнеет — зги не увидишь...

— По звездам путь найдем. Ночью-то звезды и здесь необоримая сила...

— Вестимо так, — поддержал товарищей третий вершник, — не сидеть же нашей боярышне невесть где. Боюсь я, как бы беды какой не приключилось.

— А что? — разом спросили оба вершника. — Какая беда-то? Нешто ты слыхал что?

Ответ последовал не сразу.

Вершники углублялись все далее и далее в густой лес. Деревья-исполины стеной стояли

по обе стороны дороги и затемняли слабый свет угасавшего дня. Даже в сердцах привычных людей рождалась невольная жуть. Казалось, и лошади испытывали то же чувство. Они шли неохотно, пофыркивали, храпели.

— Так о какой беде-то ты говорил давеча, Митроха? — нарушив молчание, переспросил первый вершник. — Или прослышал что-либо?

— Он там, на ночлеге, — засмеялся второй, Константин по имени, — все с бабами да девками толкался, так у него всяких сплетен, поди, целый воз понабрался...

— Помалкивай, Костька, вместе были, — огрызнулся Дмитрий, — а ежели Ванятка про беду спрашивает, — кивнул он на первого вершника, — так, поди, ты и сам на ночлеге слыхивал, сколь лют здешний князь Василий Агадар-Ковранский.

— Верно, верно, ежели ты про такую беду, — отозвался Константин. — Дюже лют князь Василий до девок и баб; ежели которая помилее, так и на глаза ему лучше не попадайся. Я так полагаю, Митроха: как бы от него нашей боярышне какой проторы не вышло?

— То-то и оно, — произнес опасливый вершник, — ты то сказал, что я подумал.

Иван внимательно слушал, что говорили товарищи.

— А почему тут вы про лютого князя Агадара заговорили? — спросил он. — Ведь к нему в его усадьбу за подмогой едем и его же хулим. Какое он касательство к нашей боярышне иметь может? Ишь, что медведь в лесную чащу забрался. Так что же он нам?

Дмитрий раздумчиво покачал головой, Константин засмеялся.

— Ты — совсем простота, Ванятка, — сказал первый. — Какое касательство? Да нешто боярышня-то наша — коза, а не девка, прости Господи? Нешто она — не красота писаная? Ведь всякий, кто поглядит на нее, вовек ее не позабудет, а сам сердцем иссушится.

— Так это, — одобрительно крякнул Иван, — это ты, Митроха, правильно. Вот к нам на границе какие паны наезжали, от Вильны, а то и от Варшавы самой, так, как взглянут на Агафью Семеновну, так сразу же и начинают млеть. Ну да не о том сейчас речь. А ты скажи вот, причем этот лютый

князь до нас?

— А притом, — поспешил ответить ему Дмитрий, — что, как сказывали нам на деревне, как раз у лесной притулицы есть у него жилье, — там у него персидская баба-красавица под присмотром такой же персидской ведьмы живет; для забавы они, значит, кормятся...

— Слышь, — опять перебил товарища Константин, — из-за персидского моря он их сюда вывез. Там-то он ее на аргамака, что ли, выменял, ну, и здесь забаву себе устроил...

— А в том же жилье у него татар и калмыков нагнано без числа, — перебил Дмитрий, — и все они на него, князя, как на своего бога молятся и во всем его без слова слушают...

— Именно, именно! — воскликнул Константин. — Скажет он им убить кого-либо — убьют! Скажет он им церковь Божию сжечь — сожгут, скажет, чтобы примеченную бабу или девку приволочь, — приволокут...

— Да и мало того, — заметил Дмитрий, — княжеские веления исполняя, и сами охулки на руку не кладут. Так вот я и думаю, что бе-

да, ежели лютый князь Василий в том своем логове у персидской бабы прохлаждается, а тут наша раскрасавица-боярышня на глаза попалась...

— Не сдобровать ей! — согласился Константин. — Кажись, Федька-то пострел прямо-таки на княжеское логовище наших и вывел...

Иван ничего не ответил, и в его душу закралась внезапная мысль о грозившей их любимой боярышне опасности.

Воцарилось тяжелое, грустное молчание; люди молчали, слова не шли им на язык. Лесная дубрава тоже молчала. Слышался только хруст проталого снега под копытами лошадей.

Так прошло несколько времени.

— Вернуться бы, — прервал тоскливое молчание Митроха, — у нас ножи и кистени, а у тебя, Ванятка, вон и пицаль за плечами болтается.

Иван досадливо махнул рукой и произнес:

— Никто, как Бог! А наших там немало. Ежели что, так есть кому за боярышню постоять, да и Серега там верховодит. Уж он-то бо-

ярышни не выдаст, горой за нее встанет. И оборонится есть чем: у кучеров и засапожни-ки, и кистени...

— Ну, будь так! — согласился Константин, а Митроха, поглядев вверх на небо, добавил:

— А вот, ребята, туда ли мы идем-то?

Действительно только теперь они сообразили, что их путь длился непомерно долго. Согласно тому, что им говорили в деревне, где они ночевали, от проезжей дороги до лесной усадьбы князя Агадар-Ковранского верхом немного больше часу ходу было, а по расчету Ивана они пробирались через лес куда больше двух часов. Да и сама дубрава стала заметно редеть.

— Ой, не туда, — воскликнул Константин и задержал лошадь, — заплутались мы...

— Чего заплутались, каркай, ворона! — крикнул на него Иван. — Видишь, из леса выбираемся, стало быть, какое-нибудь жильё да близко.

Он не ошибался. Когда они выбрались из леса и пробрались сквозь его опушку, пред их глазами раскинулась деревушка. Там были люди, а получить подмогу вершникам было

все равно от кого.

— Айда, родные, туда! — крикнул Иван, показывая на деревню рукой. — Поди там крещеные живут, не откажут подмогой в беде нашей.

Он и на этот раз не ошибся. Вершников с лаской приняли в первой же избе, на которую они поехали, и только покачивали головами, когда узнали, что поезд остановился близ заезжего дома князя Василия.

XVII ПО ЛЕСНОЙ ДОРОГЕ

Поселок принадлежал к вотчинным владениям князя, и люди Василия там так же, как и в других окрестных селениях, изнемогали от его жестокости. А люди здесь жили особенные — лесовые; жизнь среди лесного зверья, в постоянной борьбе с ним и с природой наложила на них особый отпечаток; это были не жалкие равнинные рабы, а гордые душой граждане леса.

Когда приютившие вершников люди прослышали о дорожном приключении, они

только головами закачали, и один из них вымолвил:

— Кто его знает! Может, боярышню-то и не посмеет тронуть, а все-таки лучше бы ей подалее от него...

— Тогда надобно скорее вертаться! — проговорил с тоской Иван. — Кто знает, что там вышло...

Дмитрий и Константин нерешительно переглядывались между собой.

— Будто и ночь уже! — заметил первый.

— Ну, так что же? — сумрачно поглядел на него Иван. — Или ночь не поспать для боярышни трудно!.. Слышь, что говорят здесь?

Дмитрий заметно смутился.

— Ночь не поспать — что! Да еще ежели для нашей боярышни, — ответил он, — а вот с пустыми руками вертаться нам негоже... Ведь кузнеца нам надобно, а поедет ли кто отсюда на ночь глядя? Пожалуй и человека не найдешь...

— Не даром поедут, заплатим, что следует, да еще прибавим, — возразил Иван. — Или здесь деньги так дешевы, что лежанье на печи куда их дороже?

Его слова оказались правдою. В самом деле из-за денег нашелся кузнец, да и еще четверо посельчан, знавших лес, как свои пять пальцев, вызвались быть проводниками.

Последнее было очень приятно заблудившимся вершникам: теперь они были уверены, что плутать им по лесу не придется. Они тем временем и закусили, и выпили, и незаметно пришли в самое благодушное настроение.

— Ишь ты, словно на охоту собрались! — даже засмеялся Константин, когда увидел собравшихся провожать их парней.

И в самом деле те были с топорами у пояса; у каждого было по ножу, а у одного за плечами виднелась даже рогатина.

— Нельзя иначе, — отозвался на замечание вершника парень, — у нас тут всякого зверья видимо-невидимо...

— Волки, что ли? — спросил Дмитрий. — Кажись, волчий вой мы слышали, как сюда ехали; далеко в стороне, и, знать, стая большая была...

— Волки — что! Волки — мелочь. Медвежьих берлог тут много. Сколько мы их тут за

зиму подняли, — видимо-невидимо!

— Видели и мы это добро! — отозвался Иван. — Где только этой твари не водится! У нас под рубежом их тоже не занимать стать...

— А у вас с чем на медведя идут? — полюбопытствовал другой парень из лесовиков.

— Разное! С рогатиной, а сперва из пищали бьют...

— Что пищаль! — махнул рукой третий парень. — В пищали верности нет: либо промахнешься, либо осечка... То ли дело рогатина! Принял на нее медведя, пусть себе барахтается, как напорется, только смотри, чтобы за голову тебя не сгребал...

Наезжие вершники быстро dokonчили предложенное им угощение, живо собрались сами и скоро, несмотря на ночь, все пустились в путь через лес.

Идти теперь было не страшно и не грустно: шли в восьмером. Лесовики, желая сократить дорогу, повели вершников по им одним известным звериным тропкам. Идти приходилось гуськом. По временам, словно тени, перебегали дорогу путникам всякие зверушки: то юркнет лиса, то прошмыгнет серый ру-

сак; на мелкое зверье никто не обращал внимания, и только лошади боязливо прядали ушами да начинали храпеть, когда где-нибудь поблизости мелькала живая тень. Но вдруг всех заставил остановиться и замереть на месте отчаянный, надрывистый крик человека, которому сейчас же словно эхо ответил грозный рев; от него кровь заледенела в жилах даже привычных ко всяким звукам звероловов.

Первым пришел в себя вершник Иван.

— Господи Иисусе Христе и Ченстоховская Божия Матерь! — выкрикнул он. — Да никак это медведь живого человека дерет!

— Похоже! — сумрачно ответил ему лесовик.

Крик, перешедший уже в сплошной вопль, повторился, но снова его заглушило грозное рычание.

— Так чего же мы тут-то стоим? — опомнился вершник Иван. — Не дадим, братцы, христианской душе без покаяния погибнуть... Нас много, кто за мной?

Он сорвал с заплечья пицаль и отпугнул от нее сошник.

Вопль и рычание зверя раздавались совсем близко; можно было идти на них, не опасаясь сбиться с направления. Все двинулись разом за Иваном.

XVIII

В ОБЪЯТИЯХ ЛЮТОЙ СМЕРТИ

Кричал князь Василий, сразу, как только он упал, почувствовавший нестерпимую боль в ноге и сообразивший всю грозившую ему опасность.

В самом деле еще никогда его полная всевозможных приключений и неистовств жизнь не висела на волоске так, как висела она в эти мгновения.

Зверь был огромный и, видимо, страшно разозленный неожиданной тревогой. Может быть, счастьем для Агадар-Ковранского было то, что, выпав из седла, он упал в снег.

Медведь не сразу заметил его. Внимание зверя в первые минуты было привлечено конем, отчаянно барахтавшимся и делавшим страшные усилия, чтобы выбраться и умчаться вихрем от лютого чудовища. Но медведь

недолго занимался им. Инстинкт подсказал зверю, что поблизости есть враг, более опасный, чем это хрипевшее четвероногое, и лесной гигант стал оглядываться вокруг. Напряженные до последней степени нервы князя Василия не выдержали и он, не помня себя, крикнул, призывая на помощь.

Крик показал страшному зверю, где находится его враг; он страшно зарычал и пошел к своей жертве.

Отчаяние придало силы несчастному Агадар-Ковранскому. Он приподнялся, опираясь на левую руку и пересиливая нестерпимую боль, причем в правой руке зажал обнаженный нож. Но что значило это жалкое оружие? Разве только царапину мог он, истомленный болью, нанести лесному чудовищу! Смерть взглянула прямо в глаза князю Василию, и перед ним вырисовалась вся обуявшая его безумная скверна, вспомнились уговоры Марьи Ильинишны, и ужас охватил его. Он невольно содрогнулся, когда перед ним промелькнули все неистовые ужасы, виновником которых он был на своем веку.

Смерть теперь не шутила с ним, она была

неизбежна.

Страшный зверь, рыча и сопя, подвигался все ближе, и в отчаянные мгновения нет такой крепко спящей совести, которая не проснулась бы и громко не заговорила бы в самом загрубелом сердце.

Князь Василий не сомневался, что настал его конец. Он не мог двинуться: страшная боль приковала его к земле, а потому князь лишь махал ножом.

Это раздражало разъяренного зверя. Однако медведь, казалось, был в недоумении и не знал, что значит то обстоятельство, что человек не встает пред ним. Вероятно, у него уже не раз бывали схватки с ожесточенными двуногими врагами, и он знал, что те никогда не ждут его нападения, а всегда сами нападают первыми. Тут же было как раз наоборот: человек не наступал на него, а лежал беспомощно и только раздражал его, махая чем-то пред ним.

Зверь топтался на одном месте, не зная, что ему делать, и только ревел и колотил себя по груди, не осмеливаясь подступить к лежащему. Быть может, это и спасло князя Васи-

лия от страшных когтей, но в те мгновения он ничего не соображал; всего его охватила безумная жажда жизни. Этот свирепый человек, делавший зло ради зла, жалобно молился и ждал чуда...

И чудо свершилось. Князю Василию вдруг показалось, что он слышит людские голоса, а потому, собрав все силы, закричал, призывая к себе на помощь.

Но он сейчас же забыл о голосах: зверь, очевидно, привыкнув к виду лежащего неподвижно на снегу человека, сообразил, что никакой опасности ему не грозит, что враг совершенно беспомощен, и сделал шаг вперед.

Еще шаг-другой — и лесное страшилище кинулось бы на свою жертву, а тогда князь Василий в одно мгновение расплатился бы за все свои злые дела, совершенные в течение его недолгой жизни. Но как раз в этот момент послышалось словно жужжанье небольшого шмеля, из-за кустов сверкнул огонек, потом грянул выстрел, и как будто какая-то сила швырнула страшного зверя далеко в сторону, и он страшно заревел. Однако теперь в его реве слышалась уже не одна только ярость, а

также нестерпимая физическая боль. Пуля достигла своей цели. Медведь завозил лапами по своей огромной морде, видимо стараясь стряхнуть, стереть слепившую его кровь из неожиданной раны.

Теперь он уже вовсе не понимал, что происходит, откуда получен этот неожиданный удар, кто и где были его новые враги.

А они уже стояли пред ним. Трое из них кинулись к лежавшему на земле без чувств князю Василию, а двое направились к зверю, и лесной гигант, протерев свои залитые кровью глаза и двинувшись вперед, сразу же напоролся на острую рогатину.

— Принял, что ли? — воскликнул вершник Иван и размахнулся топором.

— Принял! — последовал короткий ответ лесовика. — Лобань космача, да смотри шкуры не попортить!

Топор опустился на башку медведя, но скользнул по ней и рассек ее наискось, не нанеся смертельной раны.

Зверь страшно заревел, замахал лапами, стараясь дотянуться до стоявшего пред ним человека, а острая рогатина все глубже и

глубже впивалась в его тело.

Лесная тишь была нарушена. Раздавались человеческие голоса, рев раненого зверя. Ударты теперь сыпались на него безостановочно. Вот он сделал инстинктивное движение, как бы поняв, наконец, что ему не сдобровать в схватке с этими могучими врагами, но было уже поздно: острое рогатины впилося в сердце и разорвало его. Медведь сильно качнулся на бок, взметнул лапами, страшно заревел, а потом грузно рухнул на снег, вырвав при падении рогатину из крепких рук охотника, и забился в предсмертной агонии.

— Инда упарился! — снял меховой колпак и отер пот со лба лесовик. — Ишь как возиться пришлось!..

— Н-да, — согласился Иван, — этакая здоровая махина... Грузной какой! — и он ткнул затихавшего зверя ногой и даже плюнул на него.

ХІХ

ИЗ ОГНЯ В ПОЛЫМЯ

— Пойти взглянуть, — проговорил лесовик, — кого из беды вызволить пришлось.

— А знаешь кого? — очутился около них кузнец из поселка. — Да самого нашего лютого князя Василя Лукича!

Лесовик заметно вздрогнул.

— Врешь! — закричал он. — Быть того не может!

— Поди сам погляди, ежели не веришь...

Смельчак-парень надвинул на голову колпак и пошел к кучке товарищей, которые окружили потерявшего сознание Агадар-Ковранского.

— Взаправду князь? — спросил он, подойдя.

— Он самый, — ответили лесовики.

— Кабы знать было то, — отозвался один из них, — так и пальцем не пошевелили бы, пусть бы его на здоровье медведь заломал...

— Вестимо так, — сказал другой лесовик.

вик, — медведь меньше зла творит, чем князь Василий; известно — Божья скотина...

— А как князь мучил нас для забавы! А вон теперь лежит и не дрыгается... Видно, зверь-то лесной — не наш брат, лютовать под ним не моги...

Князь Василий, беспомощный, жалкий, без сознания, лежал на снегу среди этих явно враждебно настроенных против него людей.

Пожалуй, и лучше было, что сознание покинуло его... Судьба, вырвав его из когтей одной опасности, кидала его в объятия другой, еще более грозной...

— Расступись-ка, братцы! — раздался звучный голос того лесовика, который принял на рогатину медведя. — Дай мне взглянуть на князьеньку!

Голос этого смелого человека звучал как-то совсем особенно. В нем ясно слышались и злоба, и тоска, и нестерпимая мука.

Люди расступились.

— Ой, князьенька, — прерывисто захрипел лесовик, — вот как нам встретиться пришлось... Бог-то все видит: бывает время, что и богатым поплатиться нужно... Так-то! Дай-

кость топор-то! — обратился он к ближайшему из товарищей.

Тот в ужасе попятился.

— Ой, ой! Пришибет он князя-то, — пронесся кругом тихий шепот.

Лесовик злобно засмеялся.

— Миловать не буду, — коротко произнес он и добавил с невыразимой тоской в голосе: — Сестренку, им для забавы замученную, вспомнил... Давай топор!

Тут сказалось все, что накипело на душе этих измученных людей. Отуманенный хлопотавшею в нем злобою, человек видел перед собой тирана и не задумывался совершить кровавое преступление...

— Разойдись, братцы! — выкрикнул лесовик, которому кто-то из товарищей сунул в руку топор. — Я в грехе, я и в ответе, а вы ни в чем неповинны... У-ух! — размахнулся он топором.

Но опустить удар на голову бесчувственного князя Василия ему не пришлось.

— Не трожь! Чего ты? Или Бога позабыл! — раздался около него окрик, и чья-то сильная рука ухватила, как клещами, его руку и отве-

ла в сторону. Это был вершник воеводы Грушецкого, Иван. — Не трожь, не моги, — повторил он, — вспомни, на какое дело идешь!

— Ты чего? Тебе-то что? Наши счета...

— В них я не встречаю, — твердо ответил Иван, — а у нас на Руси лежачего не бьют... Видишь, князь-то словно мертвый валяется, а ты его такого-то пришибить задумал... Небось, кабы он на ногах был, так не посмел бы... Брось, тебе говорю, топор, не то, смотри, худо будет! — И Иван изо всей силы сжал кисть руки лесовика.

— Ты — чужой, — пробормотал тот, — нечего тебе промеж нас встречаться... Небось, не тебя его княжеская лютость коснется... А он, наш князь-то, говорят тебе, хуже зверя лесного...

— Пусть! — столь же твердо, как и прежде, возразил Иван. — Вот очнется он, лютый твой князь, и делай с ним, что тебе душа велит, а до тех пор не трожь, не дам.

— И взаправду, Петюшка, — подошел кузнец, — дурное ты замыслил... Сердце-то ты свое потешишь, а потом каяться придется. И никакой поп тебе такого греха не отпустит.

Потому, какой он враг сейчас? Малое дитя и то забрыкается, как топор над собою увидит, а он лежит и не дрыгается...

— Верно, верно он говорит! — раздались со всех сторон голоса. — Брось, Петюха, будет у тебя время с ворогом за все поквитаться... Оставь! Не дадим мы тебе душу свою загубить...

— Так это! — опять заговорил кузнец. — Нет ни в одном нашем поселке и во всей округе никого из подлых людей, кто не хотел бы вот, как ты теперь, ему, князю, топором голову раскроить... И стоит он того, окаянный, но убить-то его надо в честном бою, а не тогда, когда он даже не поймет, кто его убил... Не примем на себя его крови, ребята! Пусть Петруха на сей раз уймется...

— А-а, — не то застонал, не то заревел Петр, — провались вы все и с князем окаянным вашим, — и он бросил топор. — Делайте как хотите, берегите его на свою голову!.. Мало им в округе девок да баб перепорчено, мало на роду медведями для потехи народа перетравлено?.. Так и еще больше будет! Хотите того — пусть, а мне с вами не дорога... Нянци-

тес с окаянным... Эй, вы, проезжие, айда за мной! — и, не обращая внимания ни на князя, ни на товарищей, Петруха пошел прямо через кусты вперед.

Смущенные вершники Грушецкого последовали за ним.

XX

УСПОКОИВШАЯСЯ БУРЯ

Оставшиеся после ухода Петра и вершников лесовики несколько времени стояли молча вокруг своего князя. Удручающе подействовала на них вся предыдущая сцена. В душе каждый сочувствовал Петру и каждый действительно был готов поступить, как намеревался поступить он, но слова чужого человека пристыдили их: им и в самом деле показалось незамолимым грехом убить бесчувственного князя даже в отмщение за все то зло, которое причинял он им.

— Ну и ввалились же мы! В недобрый час из избы вышли, — проговорил один из них, нарушая тягостное молчание.

— И в самом деле, — проворчал другой, —

гораздо лучше было бы на печи сидеть.

— А уж если вышли да такое дело приключилось, — выступил третий, — так не сидеть же нам весь век тут...

— А что делать-то? Ну, скажи! — слышались вопросы.

— Как что? Посмотрим сперва, жив или помер князь-то? — и лесовик подошел к князю Василию и потряс его за плечо.

Тот слабо застонал.

— Ишь, жив! — с заметным неудовольствием и даже, вернее, с досадой пробормотал один из лесовиков. — Пойдет теперь перепалка...

— Да его, кажись, и зверь не ломал! — заметил товарищ.

— Значит, таково хорош, что и лесному зверю противен, — философски промолвил первый, — и в аду не надобен.

— Полно вам, братцы, — отошел от князя возившийся около него лесовик, — немощный он, а немощный хоть и враг, но милосердия достоин... Лучше обсудим, что нам делать... Трое нас, рук довольно...

— Что? Да сволочь его в лесное его логово,

тут напрямки совсем близехонько, особливо, ежели через чащу!

— Так-то так, а только троим нам не снести! — сказал молодой лесовик, косясь на тушу бездыханного медведя.

— Скажи лучше, шкуру бросить жалко! — заметил ему товарищ.

— И то верно, — согласился тот. — Батюшки, да чего мы думаем? Ведь конь есть, наезжие холопы его вытянули из берлоги, пока мы тут с князем возились...

Действительно, Митроха и Константин, заметив бившегося почти под землей коня, воспользовались удобным моментом и освободили его.

— Где же он, конь-то? — вода всюду взглядом, спрашивал лесовик постарше. — Что-то нет его...

Коня и в самом деле нигде не было видно.

— Сорвался да убег, вот тебе и все, — решили лесовики.

Князь между тем беспокоился и стонал. Он все еще не приходил в себя, его стоны были сильны и надрывисты. Видимо, даже будучи в бессознательном состоянии, он сильно стра-

дал.

— Не снести нам его, — твердил лесовик помоложе, — рук мало, да и шкуру здесь оставить нельзя... Попробуй-ка уйти, сейчас лисы явятся, да и волки пожалуют, весь мех перепортят...

— Так оно выходит, — согласился лесовик постарше, которому медвежьей шкуры было гораздо больше жаль, чем своего князя. — Тогда вот что, предложил он: — Пусть кто-нибудь из нас на усадьбу сходит; и впрямь тут через чащу недалеко, пусть подмогу дают... Чу, слышите!

Где-то в отдалении раздавались человеческие голоса. Издали доносились куканье, кликанье, громкие удары колотушкой по набатному билу.

— Ишь, — даже испугались лесовики, — ищут самого!

Они не ошибались.

Сорвавшийся конь примчался прямо в лесное поместье князя Агадара и переполошил там всех. Через старика Дрота весть о примчавшемся коне была передана Марье Ильинишне, и та, поняв, что с племянником слу-

чилося что-то дурное, сменила свой гнев на милость и не на шутку забеспокоилась. Как-никак, а она любила князя Василия, как родное дитя, любила его со всеми недостатками, всю жизнь жалела его, а узы такой любви не рвутся в одно мгновение, что бы ни говорил внезапно вспыхнувший гнев.

Всполошилась старушка, куда только и сон девался, откуда и силы взялись. Она загоняла своего старого Дрота, отдавая распоряжение за распоряжением, и глаз больше не сомкнула до рассвета, пока, наконец, разосланные холопы не принесли из лесу стонавшего князя Василия.

По приказанию старушки он был уложен в постель. Страшно страдая, князь то бормотал, то лепетал что-то совсем несуразное. Видимо, ему пришлось пережить сильнейшее потрясение, и он всецело находился под впечатлением его.

Старушка с тревогою смотрела на метавшегося в лихорадочном жару племянника, и слезы проступали на ее глаза.

В усадьбе Агадар-Ковранских был весьма искусный костоправ. Марья Ильинишна

немедленно вытребовала его в хоромы, и он ловко вправил вывихнутую ногу князя. Тот, почувствовав облегчение, сейчас же крепко заснул, и только тогда уставшая донельзя старушка удалилась в свои покои.

На свете так уж устроено, что стоит сойтись троим-четверым людям — добрым, честным, дружным между собою — и непременно один среди них окажется сплетником. И не то, чтобы его сплетня была злостная, а просто хочется ему рассказать о том, чего другие не знают еще. Вот и начинает такой человек хвастаться своим всезнайством, болтать, несколько не думая о последствиях своей болтовни.

Так было и тут.

Когда холопы подобрали князя, то двое лесовиков остались обдирать зверя, а третий, надеясь получить благодарность, увязался за людьми Агадар-Ковранского. Это был молодой и словоохотливый не в меру парень.

Он уже по дороге начал с подробностями, которые только в одном его воображении и существовали, рассказывать, как они, провожая наезжих вершников-холопов, натолкну-

лись на громадного медведя, готового задрать молодого князя. Когда же малый очутился на кухне и выпил хмельной браги, то его язык уже совсем развязался, благо вокруг него набралось много слушателей. Он рассказывал и как князеньку хотел зарубить сердитый на него за сестру Петруха, и как его руку задержал от рокового удара наезжий холоп воеводы Грушецкого. Не преминул он сообщить и то, что наезжие холопы сильно беспокоились, как бы князь Василий не испортил их боярышни, а потому так и спешили уйти с места ночного происшествия.

— И ладно, что они Петруху да кузнеца с собой увели, — высказывал свои предположения разболтавшийся лесовик. — Кузнец-то ничего, а Петр, кабы остался, так пришиб князеньку бы!

— Выходит так, — вмешался Дрот, — что они, Грушецкого холопы, нашего князя спасли!

— Выходит, что так! — согласились с ним почти все слушатели.

Тотчас же все подробности этого рассказа через Дрота стали известны Марье Ильиниш-

не. Старушка даже заплакала, слушая их.

— Господи милосердный, — шептала она, — сколь неисповедимы пути Твои! Воистину сказано, что ни единый волос не спадет с головы без воли Твоей... Злое задумал Васенька на наезжую боярышню, а вот как вышло: ее же люди от гибели неминучей его вызволили... Вот пусть светает только, соберусь да поеду сама, погляжу на красавицу...

XXI

НЕОЖИДАННОЕ ЗНАКОМСТВО

Томительные мгновения пережили и старый Серега, и юный Федька, пока за дверью слышались приближавшиеся шаги.

— Не сдавай, Серега, — шепнул старому холопу кравшийся к двери подросток, — все равно где погибать, здесь ли, или в Чернавске у воеводы... Я живым не сдамся.

Старый Серега ничего не ответил, а только еще крепче сжал и выше поднял дубовую скамью. Зюлейка, вынырнувшая из-за полога, так и замерла в ожидании.

Весь этот шум разбудил, наконец, спав-

шую мамку.

— Что вы, что вы, оглашенные! — спросонок заголосила не зная, в чем дело, старуха. — Разбойничать в чужом доме задумали?.. Вот я вас! Кшш... окаянные!

— Молчи, бабушка, — тихо, но внушительно проговорил Сергей, — спала ты, а мы в лютую беду попали...

— Что зря мелешь? — выкрикнула мамка. — В какую еще там беду?..

— А в такую, боярышню ты проспала бы, кабы не мы...

Старуха привзвизгнула и, закрыв лицо руками, в немом ужасе присела на пол.

В это время дверь приотворилась, и Федор, согнувшись, как кошка, уже готов был прыгнуть вперед. Однако, радостно вскрикнув, он выпрямился, и нож выпал у него из рук.

— Дядя Серега! — во все горло заорал он. — Брось скамью-то: наши там, Константин с Дмитрием и сам Ванятка... пропащие! Там еще какие-то, а здешнего хозяина и не видеть, и не слышать...

Действительно, за дверьми были возвратившиеся вершники, но, отстраняя их, вперед

продвинулось двое совершенно незнакомых людей.

Один из них, оставшийся позади, был в черной монашеской сутане, выдававшей в нем, как и едва заметная тонзура, католическое духовное лицо.

Другой, красивый молодой человек, скорее — юноша, с гордым и смелым лицом, в богатом польском одеянии, прямо прошел в покой и зорко окинул взглядом всех находившихся там.

На его лице отразилось нескрываемое удивление, когда он увидел и нож, валявшийся у ног Федора, и Сергея, все еще державшего за край скамью, и сидевшую на полу старуху-мамку. Он сразу же понял, что эти двое людей, а с ними и красивая молодая женщина с кинжалом, только что были готовы на отчаянную борьбу для защиты кого-то им дорогого, и только его появление успокоило их отчаяние, укротило их решимость.

В это время Ганночка пришла в себя. Она услышала шум, голоса и, превозмогши слабость, поднялась с постели и вышла из-за полога. Молодой поляк сейчас же увидел ее и

сразу понял, что это-то и было то дорогое существо, ради которого эти люди готовы были пожертвовать своей жизнью. Одежда Ганночки подсказала ему, что это — не простолюдинка, а вполне равная ему по своему общественному положению девушка. Сейчас же на губах юноши заиграла улыбка, и, приблизившись к Ганночке, он почтительно склонился перед нею, говоря совершенно чисто по-русски:

— Пан Мартын Разумянский, герба Подляшского, королевский поручик. Прошу прелестную панну не обидеть меня своей милостью и дать мне для привета свою ручку.

Ганночка вся вспыхнула, но, будучи привычной к польскому обращению, с легким поклоном протянула пану Разумянскому руку. Тот припал к ней с почтительным поцелуем.

В покой тем временем все больше и больше набиралось людей. Однако ни холопов Грушецкого, ни приспешников Агадар-Ковранского не было видно. Новопришедшие и по типу, и по одеждам, и по вооружению все были поляки и литовцы. Тут были и старики, и молодые; они держались свободно, но с со-

блюдением собственного достоинства.

Вершники воеводы Грушецкого, выйдя из лесу на наезженную дорогу, прямо и натолкнулись на них, словно принесла их сама судьба.

Пан Разумянский в сопровождении иезуита отца Симона Кунцевича и большой свиты из поляков и литовцев ехал по своим делам на Москву. У него — вернее, у его отца — были поместья и под Смоленском, и в Чернавском воеводстве, и молодой человек был послан родителями, чтобы разобраться в имущественных делах после недавней войны.

Дорога через лес не была прямым путем к Белокаменной, но почему-то Разумянский и его товарищи захотели сделать порядочный крюк и направились именно этой дальней, кружной дорогой.

И вот вдруг из-за кустов, прикрывавших пролесок, появилось трое конных и двое пеших, среди поезжан начался было переполох, так как встречных людей путники приняли за разбойников; много остро отточенных сабель вылетело из ножен, но, к счастью, недоумение скоро разъяснилось и все обо-

шлось благополучно.

Вершники простодушно рассказали обо всех своих приключениях, расписали, насколько им позволяло воображение, красоту своей боярышни и высказали опасения за ее участь.

— Хоть сам-то здешний князь, — сказал вершник Иван, — в беду попал и двинуться не может, а кто знает, какой им приказ своим холопам дан?

— Может, приказал он им схоронить куда-нибудь нашу боярышню, — заметил со своей стороны Дмитрий, — явимся и не найдем ее.

— А что наши там есть, — вставил слово Константин, — так с ними управиться легко: заснут с устатку, что хочешь с ними, то и делай... Хоть перебей всех.

В свою очередь, лесовик Петруха не поспешил представить проезжим князя Василия в самом мрачном виде.

Разумянский рассеянно слушал Петра, но все-таки время от времени кивал ему головой и говорил:

— Так, так!

Когда рассказ был кончен, Разумянский обратился к своим спутникам:

— Ну что, панове, как вы думаете, что нам делать, как нам быть? Я вижу, что пан Руссов желает что-то сказать, — обратился он к высокому, худощавому молодому литовцу, уже несколько раз пытавшемуся вставить свое слово. — Прошу вас, пан Александр!

Литовец тотчас же обратился к товарищам:

— Прошу извинения, паны, и вашего также, пан Мартын, — поклонился он Разумянскому, — но мне известно, что был на рубеже старый московский дворянин Грушецкий и у него красавица-паненка дочь... Вся округа была от нее в восхищении. Лицом — ангел небесный, и разумом светла... Так и звали у нас красавицу-паненку: разумница! Не про нее ли теперь речь идет? Если только это — она, панна Ганна Грушецкая, — пылко воскликнул Руссов, — то, клянусь всеми ранами святого Севастьяна, я готов ради нее в самое пекло к черту на рога пойти!

— Пан Александр влюблен, — улыбнулся Разумянский. — Он — наш друг и добрый то-

варищ, паны; мы с ним и плясали, и рубились вместе, так теперь разве не обязанность наша последовать его призыву и оградить от беды его даму, хотя бы для этого пришлось взяться за сабли!

— За сабли, за сабли! Виват Разумянский, виват Руссов! — раздалось со всех сторон.

Крики долго не смолкали; в воздухе мелькали обнаженные сабли, кто-то выстрелил в воздух. Все было ясно, все было решено: если бы пришлось ради Ганночки брать штурмом логово лютого князя Василия, то разгорячившиеся паны и пред этим не остановились бы.

Они быстро достигли жилья на опушке. Этот шум и слышали Сергей и Федька, когда были в погребке у колдуньи Аси. Они приняли его за возвращение князя Агадара, но тем больше была их радость, когда пред ними оказались друзья, а не лютый враг.

Ганночка тоже поняла, что ей грозила опасность, и только появление этих избавителей предотвратило беду.

XXII

КРОВОПРОЛИТИЕ

Пан Разумянский, после поцелуя руки, с восхищением смотрел на Ганночку. Этот восторженный взгляд смутил ее и даже заставил потупитья.

Собственно говоря, Ганночка даже обрадовалась этой встрече. На нее чем-то привычным, даже родным пахнуло от этих напыщенных фраз молодого поляка, так она привыкла к ним, живя в прирубешном имении своего отца. Но в то же время ее смутили неожиданность и полное недоумение, которое ощутила она, оглядевшись вокруг себя. Ей стало стыдно, что этот молодой красавец застал ее около готовых к отчаянной драке холопов, и она подумала, что он непременно осудит ее за это.

Краснея, она пролепетала несколько невнятных слов благодарности.

— Мы прослышали, — слегка поглаживая шелковистые усы, проговорил уже по-польски Разумянский, — что ясновельможная панна попала в гнездо разбойников... Разве

не святой долг рыцаря защищать тех, кто в беде? Притом же пан Руссов, — красивым жестом указал Разумянский на литовца, — сказал нам, что панна — дочь знаменитого воеводы Грушецкого...

— Не герба ли Липецка ваш батюшка? — заявил о своем существовании отец Кунцевич.

Очевидно, с каким-то затаенным смыслом он предложил Ганночке вопрос по-русски. Девушка несколько удивленно взглянула на иезуита, который так и пожирал ее взорами, и ответила по-польски:

— Мой предок был из Липецка, не знаю, почему он выселился на Москву...

— И принял там схизму? — ядовито заметил Кунцевич.

Ганночка ничего не ответила.

— Оставим эти разговоры, — заметил Разумянский, — Если кто и в пекле, так далекий предок панны, а она — лучшее украшение рая, клянусь в том булавой Стефана Батория... Приказывайте нам всем, ясновельможная панна, — обратился он к Ганночке, — нет такого вашего слова, которое не было бы для

нас законом. Не так ли, панове?

— Так, так, — загремели кругом голоса и громче других слышался голос литовца Руссова, — умрем за панночку, смерть ее врагам!

— О, в этом отношении мы бесполезны, — с улыбкой проговорил пан Мартын, — за вас, панна Ганна, сама судьба. Она жестоко карает каждого, кто только осмелится помыслить дурное на панну...

— Что, что еще случилось? — испуганно воскликнула молодая девушка.

— Ничего особенного! — пожал плечами Мартын, и в весьма цветистых выражениях рассказал о печальном приключении с Агдар-Ковранским.

Ганночка слушала рассказ, закрыв лицо руками. Ей стало жалко князя Василия, даже несмотря на то, что она видела его только мельком. Ведь он не сделал ей ничего дурного, а напротив того, под его кровом она нашла себе приют ночью; о замыслах же князя Ганночка решительно ничего не знала и даже не подозревала, какой опасности она подверглась бы в эту ночь, если бы судьба не столкнула почти обезумевшего князя на медвежью

берлогу.

О собственном приключении этой ночи Ганночка как-то не вспоминала. Гадание в погребке казалось сном, и ей уже не хотелось теперь наяву вспоминать об этом тяжелом сне.

Между тем оправившаяся от потрясений мамушка пришла в себя, и к ней вернулись обычный апломб и бесцеремонность. Она сразу увидела непорядок и, выступив вперед, заголосила:

— И чтой-то, господа бояре, или дети боярские, как величать не знаю, будто и негоже здесь пред девицей кочевряжиться... Прикройся платочком, боярышня, и отвернись к стенке... Пусть вон та, лупоглазая, бельма тарашит... А вы бы, бояре, уходили отсюда! Говорю, негоже вам тут будет... Налетели словно летние мухи на мед... Идите, идите себе! Идите, а не то я боярышню уведу! — и она энергично схватила Ганночку за руку и накинула на ее лицо платок.

Разумянский иронически улыбнулся, кое-кто из его товарищей весело расхохотался, кое-кто, напротив того, обиделся, и последних было даже больше, так что кругом ясно слы-

шалось довольно громкое ворчание.

— Прошу успокоиться, паны, — крикнул пан Мартын и, обратившись к мамке, с иронической кротостью сказал:— Ты совершенно права, добрая женщина: мы, грешники, не должны бы быть в раю, но попали мы сюда по особым обстоятельствам и готовы уйти немедленно, как только нам прикажет милостивая панна.

Он еще не кончил своих последних слов, когда откуда-то из отдаленных покоев раздался душу надрывающий вопль, затем другой; потом на мгновение все стихло, но после этого раздался отчаянно громкий крик:

— Убил, окаянный, убил!

В доме начался переполох; со всех сторон только и слышалось:

— Держи убивца! Добьем его! Бей!

Все блестящее общество, собравшееся около Ганночки, недоуменно переглядывалось между собою. Некоторые кинулись к окнам, но сквозь них не могли ничего рассмотреть.

— Пойдемте, панове, узнаем, что там! — предложил Разумянский, которому все это происшествие представлялось преудобным

предлогом удалиться из комнаты Ганночки, где они пробыли гораздо дольше, чем позволяли на то приличия. — Припадаю к ногам, — низко поклонился пан Мартын Грушецкой, — пусть не гневается панна, если мы покинем ее. Там что-то случилось, и необходимо наше присутствие... Но пусть панна будет уверена, что мы все — ее верные слуги. Пусть лишь прикажет что-нибудь, и она увидит, что только смерть воспрепятствует исполнить нам ее приказание.

Подобострастно вежливо поцеловал пан Мартын руку Ганночки и, низко кланяясь, пошел к дверям; его товарищи начали выходить еще раньше, и наконец покой опустел и женщины остались одни.

— Не иначе, как это — Петруха! — шептал Ивану Дмитрий. — Он всю дорогу бурлил и убить собирался.

— Больше некому, — согласился тот, — побежим посмотрим, взяли его или нет?

Старый Серега и мамушка отошли к окну, в которое уже пробился свет. Серега стал рассказывать о полной событий ночи; к ним скоро присоединился Иван и передал подробно-

сти своей поездки за подмогой. Мамушка только ахнула; она понимала, что и в самом деле чуть было не проспала своей красавицы боярышни, хотя никак не могла сообразить, откуда у нее столь крепкий сон мог явиться.

А там, дальше этого покоя, около людской кипело оживление. На лавке один, на полу другой — валялись облитые своей собственной кровью Гассан и Мегмет, головы которых были страшно изрублены топором. Оба калмыка были мертвы. Да и никто не выжил бы после тех зверских ударов, которые были нанесены им.

— Спали они, — рассказывали холопы, — и с чего так крепко, ума приложить нельзя!

Сергей и Федор переглянулись, почему столь крепко заснули оба приспешника лютого князя: они выпили по ошибке ковши с сонным зельем, которое было приготовлено для наезжих холопов, и заснули мертвым сном. Зелье действовало так сильно, что Сергею стоило большого труда растолкать своих людей и горничных девок, не разбуженных даже царившим вокруг них шумом. Проснувшись, они не понимали решительно ничего из того,

что происходило вокруг них, и с ужасом поглядывали на окровавленные трупы, прибрать которые пока никто и не думал.

Убийцею был, несомненно, лесовик Петр. Первым увидел совершенное злодеяние кузнец, ладивший полозья к возку Грушецких. Петруха пробежал мимо него, размахивая окровавленным топором. Его вид был столь страшен, что перепуганный кузнец завопил о помощи.

XXIII

СНОВА В ПУТИ

Это кровавое происшествие ускорило отъезд Грушецкой из лесного жилья. Кузнец быстро исправил возок боярышни, и около полудня оба поезда уже снова пустились в дальнюю дорогу.

Разумянский и все его спутники держались по отношению к боярышне в высшей степени предупредительно; никто из них не лез на глаза к ней, и только пан Мартын несколько раз подходил к Ганночке, спрашивая, не надобны ли ей его услуги.

Иезуит Кунцевич во все это время не промолвил ни одного слова. На него нашла глубокая задумчивость. Он был настолько погружен в свои думы, что даже не откликнулся, когда кто-нибудь пробовал назвать его. Глаза сухопарого иезуита так и взблескивали; по временам на его губах начинала играть полная скрытой загадки улыбка. Видимо, у него назревал какой-то грандиозный план.

— Святой отец что-то думает, — улыбаясь, сказал пан Мартын, подходя к нему, — и держу пари, что я знаю о чем?

— О чем же, сын мой? — спросил иезуит.

— Конечно же "о вящей славе Божией"!.. О чем же и может постоянно думать духовный потомок великого Игнатия Лойолы?

Отец Кунцевич улыбнулся и ответил:

— О да, сын мой, вы совершенно правы, именно об этом предмете я и думаю сейчас!

— И что же говорят вам, святой отец, ваши думы?

— Многое!..

Пан Мартын хорошо знал отца Кунцевича, который постоянно жил в его семье и был его духовным отцом. Этот слабый с виду человек

был полон несокрушимой энергии. Он обладал таким упорством, каким могли похвастаться немногие из его собратьев по ордену. Он был пылким фанатиком и раз задавался какой-либо целью, то неудержимо стремился к ней. На этом пути он не считался ни с преградами, ни с препятствиями. Тут для отца Кунцевича все средства были хороши и дозволены, лишь была бы достигнута цель.

Теперь, видя, что отец Кунцевич что-то серьезно обдумывает, Разумянский даже слегка встревожился, встревожился не за себя, а за Ганночку, — он видел, какие взоры бросал на нее иезуит, — и, чтобы поразведать что-нибудь о замыслах последнего, заговорил с ним:

— А что, святой отец, уж не витает ли в ваших святых мечтах прелестная паненка, которую мы так неожиданно обрели в жилище этого московского дикаря?

— И опять пан Мартын прав, — спокойно заметил иезуит, — именно эта схизматичка и наполняет собою мои думы. Скажу больше — она в центре них...

— Ого! — воскликнул Разумянский, и в то-

не его голоса послышалась ни с того, ни с сего ревнивая нотка. — Слышите, панове! Наш добрый пан Кунцевич влюбился "для вящей славы Божией"... Не влюбиться ли и нам теперь "для большего посрамления дьявола"? Ха-ха-ха!

Отец Кунцевич спокойно смотрел на юношу.

— Пусть успокоится пан Мартын, — наконец сказал он, — мне нужна не женщина, а пружинка... да, да, пружинка, которую можно надавить и так, и эдак... Успокойтесь!.. Вы, кажется, должны знать, что верить мне можно...

Он отвернулся от Разумянского, и тот замолчал.

Этот разговор происходил уже на дороге. Жилье Агадар-Ковранского было оставлено наспех. Там даже не были убраны трупы Гасана и Мегмета. Их убийца ушел в лес, а растерявшаяся дворня даже не подумала пуститься за ним в погоню.

Отдохнувшие лошади быстро мчали возки с поезжанами. Солнце ярко сияло в небесной синеве. Повевал легкий, с небольшим мороз-

цем ветерок, бодривший тело, хорошо настроивавший душу. О том, что осталось позади, никто не вспоминал. Ганночка словно позабыла о своем ночном гаданьи, что случилось с Асей, даже не приходило ей в голову. Теперь, когда все уже прошло, ночное приключение все больше и больше казалось ей сном, а о том, что это был не сон, а явь, некому было напомнить ей. Зюлейка спряталась, когда она уезжала, и никто не видал ее; Сергей и Федька, утомившись ночными приключениями, забились в возок для челяди и отсыпались, а мамка была так смущена своею оплошностью, что предпочитала молчать.

Однако для Ганночки эти события не прошли бесследно.

Сразу двое новых людей прибавилось в ее жизни: князь Василий Агадар-Ковранский и пан Мартын Разумянский. О первом она вспоминала с некоторым содроганием, образ второго вызывал у нее довольно веселую улыбку.

Пан Мартын нравился молодой девушке. Он был столь резким контрастом князю Василию, что не мог не произвести впечатления на Ганночку, которой была совершенно чуж-

да непосредственность ее земляков, чужда хотя бы потому, что в Ганночке оставалось еще немало крови ее предков, польских выходцев, а голос крови всегда говорит куда громче, чем голос даже многолетней привычки.

Выглядывая из своего возка, Ганночка ни разу не забыла бросить взор в ту сторону, где, по ее соображениям, должен был находиться пан Мартын. И тот словно чувствовал, что молоденькая путница не на шутку заинтересовалась им. Он уже давно бросил возок, в котором помещался вместе с отцом Кунцевичем и, сев на своего коня, не сходил с него.

Его примеру последовали почти все его спутники. Пан Руссов, считавшийся любимцем Разумянского, не отставал от него. Они вместе гарцевали и то перекидывались словами, то обменивались улыбками между собою. Они видели, что Ганночка частенько взглядывает на них, это еще более поджигало их.

— Сто тысяч дьяволов, — вполголоса произнес пан Мартын, — мне это приключение начинает нравиться! А как вам, пан Руссов?

Литовец вдруг ни с того, ни с сего как-то особенно заулыбался.

— Чему улыбается пан? — вспыхнув, спросил Разумянский. — Или, быть может, он не согласен со мною?

— О, нет, — поспешил ответить Руссов, — наше дорожное приключение очень интересно, а панна Грушецкая хороша... хороша... Пусть дьявол скажет, как она хороша, — неожиданно закончил он свою фразу, — я не могу, у меня слов не хватает...

Это признание вырвалось у него с таким полным комизма пылом, что Разумянский невольно рассмеялся.

Руссов, вопреки обычной сумрачности литовцев, был большим шутником и, главное, у него была комическая жилка, благодаря которой он был желанным гостем и дорогим другом во всякой компании молодежи.

— Но, — проговорил он, заканчивая свое признание, — глаза мои слишком слепы, чтобы разглядеть все прелести такого солнца, и я предпочитаю лучше любоваться не столь яркими звездами... Их по крайней мере всегда можно иметь у себя под боком...

Разумянский так и насторожился.

— Что хочет сказать пан? — воскликнул

он. — Я не уясняю себе его слов...

— Только то, что около каждого солнца бывают звезды! — ответил Руссов. — Солнце — для магнатов, звезды — для бедных шляхтичей... Пан Кунцевич сказал об этом так: "Всякому свое".

Шум, поднявшийся впереди поезда, заставил их прервать эту беседу. Случилось что-то такое, что заставило даже остановить лошадей, и возки, внезапно заторможенные, зарылись в снег.

Поезд уже давно миновал обширную равнину, стлавшуюся за лесным домиком Агдар-Ковранского, и снова проезжал сквозь лес, настолько большой, что на дороге сразу, как только въехал поезд, стало заметно темнее.

Заслышав шум, пан Мартын припустил вперед коня, но осадил его у возка, в котором ехала Ганночка. Молодая девушка тоже услышала шум и суматоху и поспешила выглянуть в окошечко возка.

Как раз в это время около нее и очутился пан Мартын.

— О, панну все беспокоят! — воскликнул

он, обнажая голову и кланяясь Грушецкой. — Клянусь, я сверну голову тому, кто устроил этот переполох...

Ганночка мило улыбнулась в ответ юноше.

Между тем впереди поезда столпились люди; все они громко кричали, махали руками и наконец всей толпою направились в ту сторону, где был пан Мартын.

XXIV ЗА ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ

Разумянский, оставшись на коне, смотрел перед собой, наморщив брови и нахмутив лоб, чем старался придать себе величественно-грозное выражение. Но это не удавалось ему: серьезность вовсе не шла к его молодому, красивому лицу; однако, пан Мартын считал себя обязанным быть серьезным всегда, когда ему приходилось иметь дело с низшими.

— Что такое? — подоспел к нему пан Руссов. — Кого-то ведут сюда.

В самом деле, впереди кучки людей шел

высокий, плечистый лесовик, видимо, оставшийся равнодушным ко всему, что происходило вокруг.

— Убивец — он, Петруха, — так и взвизгнул Сергей, увидав подходившего.

Да, это был лесовик Петр, так смело кинувшийся на медведя и вызволивший из-под него князя Василия, потом чуть было не убивший его во время обморока и, наконец, зарубивший у него в доме Гассана и Мегмета. Теперь он совершенно спокойно предстал перед Разумянским.

— Ты кто такой? — спросил его пан Мартын. — Отвечай без утайки!

Петр ухмыльнулся и переспросил:

— Кто я-то? А об этом ты, батюшка, спросил бы окрестных медведей. Лис да барсуков спрашивать нечего, внимания они не стоят, ну, а матерых волков, пожалуй, еще поспросить можно... Вон поутру я двоих насмерть положил, Божий свет от их лютости избавил... Будут помнить на том свете, у нечистого в лапах, Петруху из Кобызевки прилесной!

Все это он проговорил ровно, спокойно, без малейшего выражения страха или сожаления

В голосе.

— А-а! — закричал Разумянский, — Так это ты убил тех... там...

— Я.

— И не каешься? — вырвалось у Ганночки, слышавшей весь этот разговор.

Петруха искоса взглянул на нее, а затем произнес:

— Чего там каяться? За такое-то дело мне на том свете больше, чем за паука, грехов простится!

Эти спокойные, хладнокровные ответы вывели из себя пана Мартына.

— Так вот, чтобы у тебя грехов поскорее убавилось, — закричал он, весь краснея, — я тебя сейчас повесить прикажу... Эй, хлопцы!

Петруха и ухом не повел на эту угрозу.

— Что же, — проговорил он совершенно равнодушно, — повесь, коли тебе того так хочется... Твоя сила! Только попомни, что я — московского государя и царя подвластный, а не вашего круля... Меня царь-то государь в обиду не даст. Да и за что ты меня повесишь? Я тебя ничем не обидел, на тебя у меня никакого воровства не было! Вышел я к тебе сам,

не со злом каким-либо, а с поклоном...

Чем дальше он говорил, тем более туманилось красивое лицо пана Мартына. Он не мог не признать того, что этот смелый парень говорит справедливо, и против его слов ничего возразить нельзя. Но у сильного всегда бессильный виноват. Этот убийца-парень казался Разумянскому такой незначительной величиной, что и думать о нем было нечего. Уже в том он был повинен, что осмелился дерзко говорить с молодым магнатом, и за это его следовало наказать по заслугам.

Пан Мартын уже был готов подать своим людям знак отвести лесовика подальше в лес и там покончить с ним, как вдруг какая-то закутанная в платок женская фигура, протолкавшись сквозь толпу сбившихся вокруг пойманного людей, стремглав кинулась к нему, упала на колени и залепетала что-то непонятное, но, судя по звукам голоса, долженствовавшее выражать благодарность. Это внезапное появление женщины обескуражило всех; Разумянский молчал, ничего не понимая, Руссов был бледен и смущенно озирался по сторонам, очевидно, чувствуя себя в эти минуты

очень неловко. Только Ганночка не растерялась.

— Да это — Зюлейка! — крикнула она, узнав закутанную женщину.

Это была действительно молодая персиянка.

После того, что произошло в загородном доме Агадар-Коврайского, в котором она была игрушкой чувственных капризов князя Василия, ее ненависть к последнему разгорелась настолько, что даже страх перестал сдерживать ее. Она увидела новых людей, которые нисколько не боялись ее господина. Быть может, если бы князь Василий был налицо, так она не решилась бы исполнить давно задуманную ею выходку: убежать из проклятой неволи, все равно куда ни убежать, только бы не оставаться около ненавистного человека, только бы не знать его отвратительных ласк. А тут, как на грех, князя Василия не было, и пан Руссов обратил на нее свое благосклонное внимание. Они быстро столковались и, когда поезд Разумянского покидал лесное жилище, в возке веселого литовца, забившись в сено, которым он был устлан, покидала свою

роскошную тюрьму и прекрасная пленница-персиянка.

Зюлейка увидела Петра, когда его подвели к пану Мартыну. Шум, суматоха, крики, неожиданная остановка в пути пробудили и в ней любопытство. Петра она видела раньше, когда он после своего кровавого дела уходил от погони в лес, и теперь сейчас же узнала в нем убийцу Гассана и Мегмета. Сообразив, что грозит ему, она, вся отдавшись внезапному порыву, кинулась вперед, желая, во что бы то ни стало спасти его.

— Награду ему дать, — выкрикивала она, — он землю от лютых тигров освободил... Не столько князь, сколько Гассан и Мегмет людей мучили. Столь многие плакали от них, нет, не плакали, а стонали! Они были изверги, палачи! Все было от них... Прости его, награди! — кинулась она к Разумянскому и, схватив его стремя, умоляюще смотрела на него.

— Слышь, пан, — вдруг выступил, вершник Иван, — у него, у Петрухи этого, те вороги сестру замучили. Князь испортил ее, а потом им отдал; они девку и замучили. Вот и не

стерпел парень страшного лиха: вышел слу-
чай, и расчелся...

Пан Мартын внимательно слушал все, что
говорилось. Неожиданное появление Зюлей-
ки сперва несказанно удивило его, но, взгля-
нув на Руссова, он сразу все понял.

— Не об этой ли звезде, — слегка кивнул он
на Зюлейку, склоняясь к литовцу, — и гово-
рил пан?

Руссов заерзал на седле и в тон Разумян-
скому ответил:

— Я уже сказал вельможному пану, что
"всякому свое"!

— Так, так! — улыбнулся Разумянский. —
Ну, об этом мы потолкуем после и выпьем за
успехи пана Александра Руссова в любви!

Потом, обращаясь к Петру, он постарался
нахмурить погрознее брови и спросил:

— Так это?

— Все — правда! Вешай меня, ежели хо-
чешь!

В этот момент раздался нежный голос Ган-
ночки:

— Пан Мартын, а пан Мартын!

— Что прикажет ясновельможная панна

своему рыцарю? — воскликнул поляк. — Прошу помнить, что каждое ее слово — закон для всех нас. Приказывай, божественная!

— Нет, я только прошу пощадить жизнь этого человека. Для меня пощади его, пан Мартын!

Разумянский весь так и вскинулся, будто вдруг вырос.

— Ты слышишь, собачья кровь! — крикнул он, обращаясь к Петру. — За тебя просит панночка!

— Спасибо ей, — усмехнулся Петр, — только мне того мало, что вы меня не повесите...

— Мало? Ах, негодяй! Чего еще тебе?..

— Возьми меня, пан, к себе на службу... Ведь ты на Москву идешь? Верно служить буду и не раз пригожусь! А ты меня не выдашь!

Лицо Разумянского прояснилось. Это обращение к его покровительству сильно польстило гордому поляку.

— Скройся с глаз моих! — крикнул он Петру в притворном гневe. — Иди назад в обоз, собачья кровь, москаль негодный, потом потолкуем, что с тобою делать... Да ясновельможную панну благодари! Уж повесил бы я

тебя, если бы не она.

Петр усмехнулся, отвесил поклон Ганночке и побрел вдоль вновь двинувшегося обоза.

XXV ПОСЛЕ БУРИ

Пока совершались эти события и обреченная жертва благополучно избежала грозившей ей опасности, в лесном поместье князя Агадар-Ковранского еще продолжалась драма, в которой эпизод с медведем был далеко не началом конца.

После того как костоправ умело и ловко вправил вывихнутую кость, и князь Василий заснул мертвым сном, добрая старушка Марья Ильинишна погрузилась в глубокие думы.

Нежданно налетела кипучая гроза и своим вихрем завертела все, что попало под него. Вспышка неповиновения со стороны всегда покорного племянника затронула Марию Ильинишну за живое, уколола самолюбие любящей женщины, но все-таки подействовала лишь поверхностно. Вряд ли старушка

привела бы в исполнение свою угрозу и ушла бы из насиженного гнезда. Этого она, быть может, и не сделала бы, потому что слишком любила князя Василия и понимала, что одного нельзя было оставлять его.

Но теперь, когда старый Дрот передал ей все происшедшее в лесу, в особенности попытку Петра убить князя, старушка почувствовала, как она холодеет от ужаса. Ей сразу представилось, какая бездна ненависти окружает ее несчастного любимца, что покушение освирепевшего лесовика — только начало новых бед и что князю Василию не сдобровать, если он останется еще в своей лесной труппе.

"Нужно вывести его отсюда, — вздыхая, думала Марья Ильинишна, — но как? Не маленький ведь он; пожалуй, и не послушает. Потом нужно эту проклятую ссору прикончить... Эх, пылкая кровь татарская! Деды из рода в род за всякий пустяк отмщали, так вот их-то крови в Васеньке и Москва не охладила. Горячая голова! Того, дурашка, рассудить не может, что если внуки за дедовские обиды будут кровью мстить, так и житья тогда никому

на свете не будет... О, Господи, Господи!"

От племянника мысли Марьи Ильинишны как-то сами собою перешли к виновнице всего этого переполоха, боярышне Грушецкой.

"Нанесло, знать, судьбою Агашеньку-то! — думала она. — Выходит это так, а не по иному... Только это я сгоряча подумала ехать к ней, да, сгоряча! Молода она, чтобы я к ней первую явилась... Вот пошлю за ней, дорожным людям в пути день-другой не расчет, пусть погостит, хоть посмотреть на нее, что она за краса такая. Старого-то Семена Грушецкого я теперь вспоминаю; слюнтяй парень был, шебарша и пустельга... Ишь, воеводою в Чернавске уселся; кормится, поди, от подвластных в три горла. На границе жил, от дедовских порядков, поди, отвык. Да и то сказать: все Грушецкие на польскую руку тянули, совсем не так жили, как наши исконные живут: телятину жрали и не каждую субботу в баню ходили, и то без жен, вопреки святоотеческому свычаю православному! Поди, и дочка у него такая же вышла".

Пораздумав на эту тему еще немного, старушка решила не откладывать дела в долгий

ящик. Но послать холопов за Ганночкой ей не пришлось. Из прилесного жилья прискакали холопы с недобрыми вестями о гибели Гассана и Мегмета и рассказали о том, что Ганночка уже успела уехать, сопровождаемая наезжим польским поездом.

Марья Ильинишна терпеть не могла обоих калмыков. Ей была известна их лютость, но все-таки известие об их гибели неприятно поразило ее.

— Уж не последние ли времена настали? — гневалась она. — Всякий сброд лесной против господ пошел!

О том, что сбежала Зюлейка, она и думать не стала: персиянка в ее глазах была хуже паршивой собаки.

Сообщить о всем происшедшем племяннику взялась Марья Ильинишна. Да и кто бы из дворни или челяди осмелился на это? Ведь каждому была дорога своя голова, а князь Василий в гневе не разбирал ни правых, ни виновных.

Отдаляя по возможности минуту неприятного объяснения, старушка решила не будить племянника и начать с ним разговор только

тогда, когда он проснется сам.

Князь Василий проспал далеко за полдень. Он пробудился весь разбитый: страшно болела голова, ныли все кости и суставы, побаливал и вывих.

От того, что было в прошлую ночь, остались только смутные воспоминания. Князь помнил, как вылетел из седла, как на него надвинулось лесное чудовище, а потом нить воспоминаний обрывалась; словно завеса какая-то окутывала его мозг, и он сквозь дымку тумана припоминал, что очнулся от боли, которую ему причинил костоправ. Еще несколько туманных отрывков носилось в его мозгу, а дальше опять все было окутано непроницаемой пеленой.

Радость так и охватила князя Василия, когда он увидел доброе лицо Марьи Ильинишны; она в ожидании его пробуждения уселась в высокое кресло около постели и не спускала взора со своего любимца.

— Государыня-тетушка! — чуть не в полный голос закричал князь Василий. — Простила ли ты меня за дерзость мою вчерашнюю?

— А каешься ли? — спросила старушка.

— Как не каяться! Попущение Божие за грех мне было. Ведь уж и не знаю, как от медведя ушел-то, кто от него меня вызволил... Каюсь, государыня-тетушка, каюсь...

— И не будешь больше? Не посмеешь наперед дерзить?

— Да разрази меня Бог, ежели я помыслю впредь о том. И тут не иначе, как дьявол от меня моего ангела-хранителя прогнал...

Очевидно, пережитый смертный страх умиротворяюще подействовал на эту неукротимую душу.

Марья Ильинишна, со свойственной старым людям наблюдательностью, сейчас же подметила это и решила, что не может быть времени удобнее для того разговора, который она затеяла.

— Так-то вот все и выходит, племянничек, — торжественно заговорила она, — ты, вот, злое умыслил на боярышню Грушецкую — припомни-ка, какое ты дело хотел совершить, — а Бог-то многомилостивый не допустил до того, да и вразумление тебе великое послал... Знаешь ли ты, о чем говорю я?..

— Нет, государыня-тетушка, не ведаю я, — смиренно ответил князь Василий. — Не ведаю, — повторил он, — будто и памяти нет, будто всю ее отшибло, как под медведем я лежал...

— Ага! То-то и дело! — воскликнула старушка. — А знаешь ли ты, Васенька, что тебя боярышня Грушецкая спасла от смерти неминуемой, да не единожды, а два раза в эту ночь?..

— Как! — вскрикнул князь Василий. — Да может ли то быть?

— Два раза она тебя от смерти отвела, через людей своих, а ежели ты жив теперь, так ее одну за то благодари! — и старушка подробно рассказала племяннику все события полной тревоги ночи. — Или не видишь ты во всем этом указующего перста Господня, — торжественно закончила она. — Ты старую дедовскую обиду на неповинной внучке хотел выместить, а нет — она тебе услугу такую оказала, что ты в одну ночь дважды на свет родился.

— Государыня-тетушка, — хватаясь за голову, воскликнул Василий Лукич, — да что же

это такое? Сон я, что ли, наяву вижу? Тетушка, родная, одна ты у меня, тебе признаюсь: полюбил я боярышню. Никогда еще не любил никого так, сразу она меня всего в полон взяла... И неистовствовал-то я оттого, что хотел я любовь свою задавить, опозорить боярышню хотел, чтобы потом и думать забыть о ней. Да тут вон Бог вступился, на зло не попустил и ей же меня обязал неоплатным долгом... А тут промеж нас стародедовская обида легла, и, как теперь мне быть, не знаю... Не могу я любить ее, пока обида не будет покрыта.

— А ты обиду-то возьми да покрой, — произнесла Марья Ильинишна, — вот тебе и весь сказ.

— Как? Научи, родимая!

— Возьми да и женись на свет-Агашеньке...

— Что? Жениться! Да разве она пойдет за меня такого?

— Отчего не пойти?.. Девичьему замужеству отец — хозяин, а ты так сделай, чтобы тебе от отца отказа не было. Он-то, поди, никакой обиды не помнит, а устроить это легко! — и старушка принялась излагать разом заро-

дившиеся в ней планы племяннику.

XXVI

НАРУШЕННОЕ ВЕСЕЛЬЕ

Пан Мартын Разумянский остался рыцарем Ганночки вплоть до того перекрестка, где дорога, по которой ему предстояло ехать дальше, ответвлялась на Чернавск. Тут оба поезда должны были разъехаться.

У перекрестка стояло большое торговое село, весьма оживленное, так как проезжающих было много, и все они считали своим долгом останавливаться здесь, одни — чтобы накормить, а другие — сменить лошадей. Здесь было много заезжих изб, и каждая из них почти всегда была полна народом.

Ганночка чувствовала себя настолько утомленной всеми пережитыми волнениями, что упросила мамушку побыть на селе подольше. Сказывалась тут и бессонная ночь; не прошел бесследно и тот час, который она провела в подвале, полном всякого чада и смрада, которым сопровождалось колдовство старой Аси.

Но, конечно, среди всего этого самым главным было желание несколько дольше побыть в обществе молодого, изящного поляка и всей его веселой компании, такой непринужденной, а вместе с тем и такой деликатной, что Ганночка с ужасом вспоминала о тех чернавских увальнях, среди которых ей нужно было, может быть, прожить всю остальную жизнь.

Русские и поляки остановились в разных заезжих избах. Однако самым паном Мартыном избы были выбраны такие, которые приходились одна против другой. Промеж них раскинулась обширная площадь, гудевшая разряженным народом, так как денек выдался чудный, солнечный, с легким морозцем и притом праздничный.

— Фу, устал я! — воскликнул пан Мартын, очутившись в тепло натопленной избе и освободившись от лишнего верхнего платья. — Клянусь рогами ста тысяч дьяволов, что я с удовольствием выпью один целый кубок вина...

— Это хорошо, — воскликнул пан Русов, — пан Мартын выпьет один, я выпью второй!

— А я — третий, я — четвертый, я — весь пятый! — раздавались вокруг веселые голоса спутников Разумянского.

Молодость — всегда молодость! Ничто не действует на нее: ни беда, ни усталость. Все, решительно все, дает повод к веселью, к смеху... Счастливая пора!

Разумянский хлопаньем в ладоши призвал слуг и приказал им поскорее накрывать на стол. В те времена все запасы путешественники возили с собою, так что всегда могли получить в изобилии свои любимые блюда в привычной сервировке. В один миг на столе избы, занятой поляками, выросли горы всякой всячины: холодные окорока, всякие соленья, печенья и среди всего этого стояли объемистые жбаны с разными винами и старым медом.

— Не будем, панове, забывать, что мы — странствующие рыцари, — провозгласил Разумянский, — а рыцари никогда не забывают дам... Будем просить панну Грушецкую...

— Нет, не будем, — возразил литовец Руссов, — мое слово против пана Мартына. Ведь прелестная панна Грушецкая — московка. У

них нет наших свободных обычаев, и не дай Бог, если мы хотя и без умысла, но все-таки обидим даму. Притом же и у них с собой, я знаю, множество всяческих запасов.

— Клянусь набольшим пекла, — вскрикнул пан Мартын, — что литовец прав! Хотя красавица-панна и любит наши обычаи, но та московская свора, которая около нее, так и косится на нас... Действительно, лучше не будем раздражать их, а то одна эта старуха-мамка способна испортить существование спасенной нами красавицы-панна!

— Так, так, — раздалось голоса.

— Но без дам скучно, — лукаво прищурился Разу минский, — не так ли, панове? Так не просить ли нам пана Александра, чтобы яркий луч солнечный украсил нашу ночь. Это в его власти! Неужели он будет столь ревнивым эгоистом, что откажет нам в этом добром деле?

По лицу литовца Руссова скользнуло кислое выражение. Он понял, что от него требуют привести сюда, к пирующим, Зюлейку. Хотя он был безусловно уверен в полной корректности своих товарищей, но все-таки

предложение Разумянского было ему не по сердцу. Увезя Зюлейку, он вообразил, что к нему перешли все права на нее, а тут на нее предъявляли права и другие. Однако ему не хотелось, да и невыгодно было ссориться с Разумянским, а потому он воскликнул:

— Я знаю, про что вы говорите, шалуны, и хочу доказать вам, что я отнюдь не ревнив! Но я — все-таки эгоист: я не хочу, чтобы вы умерли с голоду, а это неизбежно, если будет исполнено предложение пана Мартына. Все эти прелести, — он указал на стол, — будут позабыты, когда пред вами замелькает мой луч. Итак, еште, пейте, а сладкое, как и всегда, будет последним!

Взрыв хохота и рукоплесканий встретил окончание этой коротенькой речи литовца.

Разыгравшийся аппетит давал себя знать. Не умолкая бренчали ножи, кубки быстро опоражнивались и наполнялись снова. Веселая беседа так и кипела, так и искрилась островами, шутками-прибаутками. Головы уже начали заметно кружиться, глаза разгорелись, лица разрумянились.

— А что, — вдруг произнес пан Мартын, в

голове которого порядочно-таки шумело, — не вспомнит ли пан Александр о своем обещании?

Руссов, тоже порядочно охмелевший, вскочил со своего места и возбужденно воскликнул:

— Идет! Спасибо, пан Мартын, что напомнил. Пусть эта звезда Востока споет нам свои песни и потанцует нам. Сейчас пойду и приглашу ее! — И, полный возбуждения, он кинулся из избы.

Зюлейка была устроена им у хозяев на их половине. Однако Руссов не нашел ее там, и ему сказали, что персиянка вышла к проезжей московской боярышне.

Литовец Руссов далеко не мог похвастаться деликатностью прирожденного аристократа-поляка, да и в голове у него сильно шумело. Стремительно кинулся он через полуосвященные сени на крыльцо. На пути ему попался какой-то человек. При слабом свете Руссов видел только, что этот встретившийся ему человек одет богато, что у его пояса сабля в богатых ножнах, а красивое лицо бледно, как у только что вставшего с постели больного.

Впрочем, все это Руссов заметил только мимолетно. Он сильно толкнул встречного и кинулся вперед, даже не обратив на него внимания. Незнакомец что-то крикнул вслед, но не погнался за литовцем, а пошел к дверям той горницы, где пировал Разумянский со своими спутниками, и на мгновение остановился у ее порога.

Этот незнакомец был князь Василий Лукич Агадар-Ковранский.

Крепкий, долгий сон после событий бурной для него ночи, возвратил ему силы. Вывих был мастерски вправлен и почти не дал знать о себе.

Пока Марья Ильинишна говорила о его личных делах, князь Василий все более и более успокаивался. Должно быть, вправду взяла в плен его неукротимое сердце боярышня Грушецкая! Ему был приятен план, предложенный Марьей Ильинишной, взять за себя Ганночку.

В этом случае разом гасло пламя давней дедовской ссоры. В согласии Семена Грушецкого не могло быть и сомнения: куда выше Грушецких стояли князья Агадар-Ковранские

и куда более богаты были они, так что породниться с ними было бы честью для простого служилого дворянина.

Но, как только князь Василий услышал о последующих событиях, от него разом отлетел тихий ангел, и вновь яростный гнев стал жечь его буйную душу. Поезд поляков, убийство слуг, увоз Зюлейки — все это князь Василий принял как жесточайшую кровную обиду.

Но более всего и мучило, и терзало, и палило его то, что наезжие поляки увезли с собой Ганночку Грушецкую. Пожалуй, не будь этого последнего обстоятельства, не так быстро исполнил бы он свое решение, а тут откуда и силы взялись, и боль была забыта. Не подействовали никакие уговоры Марьи Ильинишны. Пылая ярым гневом, князь Василий сорвался со своего ложа. В обширных палатах раздался его грозный клич, созывавший холопов, и немного спустя князь уже мчался к своему прилесному жилью.

Там он нашел полный разгром. Не сдерживаемые никем холопы перепились и, уверенные, что грозный князь не появится, приня-

лись за форменный грабеж. Однако князь Василий даже не стал разбирать дело. В сопровождении десятка вершников он умчался в погоню за наезжими поляками, которых только одних винил во всем происшедшем, и теперь, догнав своих врагов, готов был на все, лишь бы утолить свой гнев.

XXVII ССОРА

Из-за прикрытой двери до князя Василия ясно доносились веселые клики, звон кружовых чаш, смех и хлопанье в ладоши.

"Проклятые! — злобно подумал князь. — Пируют, веселятся! Может быть, и Зюлейка с ними?.."

О Ганночке князь и не подумал. Он, промчавшись через село вихрем, не заметил никаких следов обоза чернавского воеводы. Спросил он только о поляках и, узнав, в какой избе, прямо кинулся туда. Он был уверен, что обоз Грушецкого не остановился в этом селе, а проехал далее.

Воспоминание о Зюлейке словно огнем

обожгло его. Не помня себя от ярости, князь Василий так рванул дверь, что по сеням и горнице только грохот пошел, а затем, сделав шаг вперед, остановился у порога и окинул всю компанию мрачным, полным яростной злобы, взглядом.

— Здравствуйте, панове, здравствуйте! — хриплым, вздрагивающим голосом проговорил он. — Видно, не ждали, что я так скоро пожалую?..

Никто из поляков не ожидал появления чужого человека, да притом столь грубо-враждебного. Они, конечно, не могли знать, что это — князь Агадар-Ковранский, так как никогда не видали его в лицо. В первые мгновения они предположили, что к ним ворвался какой-нибудь до бесчувствия перепившийся сельчанин, и повскакали со своих мест, готовые кулаками выбросить его вон.

— Кто ты такой? — весь кипя гневом, кричал пан Мартын. — Отвечай, собачья кровь! Иначе... — и он порывисто сорвался с места и в один прыжок очутился около князя Агадара.

Тот грубо крикнул:

— Потише ты! Чего хайло свое польское

распустил?.. Не запугаешь горлом. А кто я, так отвечу: я — князь Агадар-Ковранский. У меня в доме грабители побывали, так вот я за ними гонюсь. А вы, говорят, те самые грабители и есть. Так или нет?

Разумянский покраснел от гнева и, не отступая назад, с ярко блистающим взором произнес:

— Очень рад, что предо мною — не холоп и не смерд, а благородный русский князь; по крайней мере я сам, а не моя дворня, научу русского князя плетью, что нельзя врываться так, как он ворвался к незнакомым людям, нарушать их мирную беседу, наносить им оскорбления. Я уверен, что после моей порки русский благородный князь навсегда будет помнить, что так поступать нельзя, и все те, кому придется путешествовать после меня, уже не подвергнутся его дикой ярости.

Всю эту напыщенную речь Разумянский произнес отчетливо, налегая особенно на те ее места, которые казались ему наиболее оскорбительными.

Князь Василий слушал поляка молча и терпеливо. Ему как будто доставляли удо-

вольствие эти оскорбления. Но было заметно, что в его душе в эти мгновения клокотал целый ад.

— Хорошо ты говоришь, пан!.. Не знаю, как тебя и называть по имени, но по делам-то я назвал бы тебя разбойным татем...

— Молчать! — перебивая его, закричал пан Мартын. — Или, клянусь всеми дьяволами преисподней, ты немедленно очутишься у них в пекле...

— Молчать, молчать! — хором грянули находившиеся в горнице спутники Разумянско-го. — Что это в самом деле? Или наши сабли к ножнам приросли, что этот грубиян еще жив до сих пор? В сабли его, панове, в сабли! За Польшу и короля!

Агадар-Ковранский, слыша эти крики, презрительно рассмеялся.

— Не любите вы, панове, правды! — прогремел он, напрягши голос. — Не любите! Правда-то, видно, глаза колет, а у нас-то, на Руси, правды-то немало — не всю еще в лихо-летье польская свинья съела. Ну, чего взбеле-нились? Или обрадовались, что я один, а вас много? Только, если бы вас еще столько было,

так и то я вас не испугался. Ну, чего саблями махаете? Подходи, что ли, кому жизнь надое-ла. Э-эх, вот так-то и всегда вы храбры, когда впятером на одного выходите...

Эти гордые слова задели за живое Разумян-ского.

— Прошу панов, — крикнул он, — вложить сабли в ножны и отойти. Этот человек при-надлежит мне; прошу помнить, что я взялся выучить его, и потому прошу не мешать мне. Итак, скажи, князь, чего ты хочешь от нас?

— Перепороть вас всех у меня на конюшне, а потом вздернуть каждого отдельно на пер-вых попавшихся суках.

Крики негодования были ответом на эту оскорбительную выходку. Но Разумянский все еще продолжал сдерживаться.

— Пан князь очень груб, — вздрагиваю-щим голосом сказал он, — он позабыл, что мы — гости в его стране.

— Хороши гости! — захохотал Агадар-Ко-вранский. — Ехали путем-дорогой, видят дом без хозяина, и ну чужое добро растаскивать...

— Пан! — закричал не своим голосом Разу-мянский, и, обнажая саблю, ринулся было

вперед...

Как раз в это время дверь в горницу отворилась и через порог ввалился раскрасневшийся Руссов, ведший за руку Зюлейку.

— Вот и мы, панове, — закричал он, — сейчас красивейшая звезда Востока споет нам... Но что здесь такое? — в изумлении остановился он, услышав, как дико вскрикнула персидская красавица при виде князя Василия.

— Что же, неправду я сказал! — захохотал последний, указывая на Зюлейку. — Разве не мое добро? Разве не ограбили вы меня?

Он кинул Зюлейке несколько слов по-персидски и та, вдруг бросившись на пол, поползла к его ногам и припала к ним, князь Василий поставил ногу на ее плечо и окинул всех гордым взглядом.

— Это невозможно! — закричали вокруг. — Вон его, в сабли, убить его!

— А ну-ка, попробуй! — вызывающе произнес Агадар. — Эх, вы! На один крик мастера!

— Пан князь, — заговорил Разумянский, — нанес мне столько обид, что они могут быть смыты только кровью. Клянусь, что эта женщина сама ушла за нами, и мы узнали об

этом только уже на пути. Мы не могли отослать ее обратно, потому что считали ее свободной; да и было бы грешно пустить ее одну по снегу через лес. Но пан русский князь, как я вижу, не верит мне. Пусть же сабли наши решат, кто из нас прав. Вызываю русского князя на поединок!

С этими словами он красивым жестом швырнул Агадару прямо в лицо свою перчатку. Князь Василий поймал ее на острие сабли и бросил обратно пану Мартыну.

— Пошла прочь! — закричал он на Зюлейку и толкнул ее в лицо носком сапога. — Будь ты проклята, негодная тварь!.. Сгинь с глаз моих, пока я тебя не прикончил!

Зюлейка с визгом вскочила с пола и кинулась из избы. Через минуту она в истерическом припадке билась у ног перепуганной Ганночки.

До последней уже дошла весть о появлении в селе Агадар-Ковранского. Кипучую ссору, происходившую в заезжей избе, успели заметить и на сельской площади. Холопы князя Василия, спешившиеся с коней и смешавшиеся с толпой, уже успели многим рассказать, в

чем дело.

Хотя и сюда дошли слухи и легенды о жестокости и лютости князя, но на этот раз симпатии большинства были на его стороне. Проснулась ли в этом случае неприязнь к полякам, еще жившая в русских сердцах после ужасов лихолетья, или чувства собственников, почуявших нарушение своих прав, или, может быть, просто всех этих праздных и далеко не трезвых людей охватила жажда скандала, но только толпа оказалась враждебно настроенною против польских гостей, и между людьми Разумянского и Агадар-Ковранского уже началась драка.

Появление растрепанной Зюлейки, лицо которой было окровавлено, было встречено грозным ревом толпы. Ганночка слышала это, и ее сердце билось с каждым мгновением все сильнее и сильнее, старуха же мамка совсем потеряла голову.

— Ой, лишенько, ой, пропала моя голова, — металась она по горнице, — Серега, Федюнька, Митятка, Ванятка, Кенсенсин, закладывайте, идолы, лошадей!.. Ехать нужно... Гнать, что есть духа, нужно, уйти от беды немину-

чей, боярышню увезти... Ох, чует мое сердце, не быть добру! Вон как лупоглазая персидская баба воет, словно пес к покойнику! Ой, да шевелитесь вы, негодники, закладывайте лошадей-то, ни мало не медля!.. Ужо пожалуюсь на вас государю воеводе-батюшке, так влетит вам; будете знать, как о своей боярышне заботы не иметь! Вот я вас, статуи окаянные!

Однако на старушку никто и внимания не обращал: не до того было. Ганночка суетилась около бившейся в истерическом припадке Зюлейки; холопы убежали на улицу в ожидании, чем все это кончится.

Скоро гудение толпы и крики дали понять Ганночке, что на площади происходит нечто необыкновенное.

XXVIII

ПОЕДИНОК

А на площади происходило действительно почти необычайное для русского села.

Из заезжей избы, занятой поляками, как угорелый, выскочил Руссов и во все горло заорал, призывая к себе людей пана Мартына. Он звал по-польски и говорил так быстро, что русские ни слова не поняли и были весьма удивлены, когда основательно вооруженные поляки и литовцы, стремглав кинувшись вперед, оттеснили толпу, и, очистив от нее довольно большое место, окружили его живым кольцом.

Видя это, толпа замерла; она понимала, что готовилось интересное зрелище.

На крыльцо высыпали сильно возбужденные спутники Разумянского. За ними появился и он сам, очень взволнованный, бледный, с горящими ненавистью глазами.

Следом за ним выступил князь Агадар-Ковранский. Он шел с высоко поднятой головой. Его лицо тоже было мертвенно-бледно — без

кровинки, но особенного волнения на нем не было заметно. Напротив того, князь Василий улыбался, и в то время как Разумянский заметно вздрагивал, был покоен.

— Вот молодец! — раздались при виде его в толпе восклицания: — Ишь, ястребом так и смотрит!

— Наш, — громко говорили в другой кучке сельчане, — а наши разве когда сдают?.. Крыжа так вон дрожит, а наш себе спокойненько шествует.

В толпе успели заметить, что князь Василий слегка прихрамывает, и те, кто знал его приключение в лесу, даже пожалели его.

Князь Василий действительно ощущал сильную боль в вывихнутой ноге, но его тело было настолько могуче, что он не поддавался болевому ощущению и даже виду не показывал, что сильно страдает.

Выйдя на крыльцо, он приостановился и огляделся своим ястребиным взором вокруг. Вдруг его мрачное лицо просветлело, а на губах замелькала хорошая, светлая улыбка. Он увидел на крыльце противоположной избы Ганночку, и какой-то никогда не испытывае-

мый ранее восторг овладел его вечно печальной и мрачной душой. Словно луч небесного света проник в ее тайники и все озарил там, разгоняя царившую в них кромешную тьму. Теперь князь Василий был готов умереть, и смерть на глазах этой, накануне еще чужой ему девушки, против которой он замыслил страшное, грязное дело, казалась ему величайшим счастьем. Да, теперь, видя Ганночку Грушецкую, князь готов был на бой, на всякий бой!

Между тем, весь трепеща от волнения и гнева, Разумянский воскликнул:

— Панове, вы все были свидетелями того, какие обиды нанес мне... нам всем князь Агадар... Только кровью смываются эти обиды... Так будьте же свидетелями, что я вызвал обидчика на единоборство, на бой, на жестокий бой...

— Если ты будешь побежден, — кинулся к Разумянскому Руссов, — наши сабли сумеют отомстить за тебя!

Пан Мартын сверкнул на него своими злыми глазами и крикнул:

— Не смей! Будь проклят тот, кто будет

мстить за меня.

— Но отчего же? — не унимался литовец.

— Оттого, — скороговоркой ответил ему Разумянский, — что я призвал этого русского на суд Божий. Если он одолеет меня, стало быть, я был не прав, и мое поражение будет мне небесным наказанием. Но этого не будет: я одолею, за меня Ченстоховская Божия Мать, Пречистое Тело Господне и все силы небесные...

— Скоро болтать кончите там? — раздался с крыльца голос князя Агадара. — Начинать пора, а то еще стемнеет... Или вы этого и ждете?

Кровь бросилась в лицо поляка.

— Выходи, князь! — крикнул он и первым пошел на середину круга.

Холопы князя Василия, увидав своего господина и угадав чутьем, что ему грозит нешуточная опасность, двинулись было ему на помощь, но сам князь Василий поспешил остановить их!

— Эй, вы, прочь! — закричал он, спускаясь с крыльца. — Голову расшибу; ежели кто сунуться посмеет.

Холопы отхлынули назад и смешались с толпой посельчан, вплотную окруживших живое кольцо из людей пана Разумянского.

— Никак биться будут! — говорили в одном месте.

— Если по чести, — высказывались в другом, — то это — Божье дело.

— А ежели не так, ежели с подвохом, — волновались их соседи, — так нашего князя полякам не выдавать... Чуть что, наваливайся скопом!

Но вдруг все разом стихло, и сотни взоров устремились на середину площади.

Там друг против друга стояли князь Агдар-Ковранский и пан Мартын Разумянский.

Пан Руссов и остальные спутники молодого поляка, сумрачные и нахмуренные, стояли, опираясь на свои сабли — хмель как будто соскочил с них. По крайней мере с виду они были трезвы; удручение же их было вполне понятно: пан Мартын был богат и, путешествуя с ним, они все были избавлены от путевых издержек.

Литовец Руссов был как бы распорядителем боя. По его знаку противники оба одно-

временно обнажили сабли.

На верхней площадке крыльца появилась черная фигура отца Кунцевича. Он мрачно смотрел на происходившее пред его глазами и очевидно не думал помешать начинавшемуся поединку. Но смотрел он на бойцов с большим любопытством, как будто оценивая их силы и стараясь предугадать, кто из них выйдет победителем.

— Сходись, начинай! — крикнул Руссов.

Разумянский стремительно кинулся на князя Василия, стараясь нанести ему удар своею сверкавшею на солнце саблею, но тот встретил этот стремительный выпад, даже не сдвинувшись с места, и так ловко отбил саблю Разумянского, что она вдруг очутилась за спиной поляка.

Гул одобрения пронесся по толпе.

Это раздражило и распалило Разумянского. Он с бешеной яростью снова кинулся на противника. Опять скрестились сабли, и слышалось их лязганье.

Натиск Разумянского снова был блестяще отбит князем Василием.

Бешеная, яростная схватка утомила поля-

ка. Его глаза налились теперь кровью, грудь вздымалась от прерывистого дыхания. Пан Мартын прекрасно владел холодным оружием, так как брал уроки фехтования у лучших мастеров Парижа, и был уверен, что если не в Варшаве, то во всяком случае в варварской Московии не найдется никого, с кем бы он не мог справиться. И вдруг, сам того не ожидая, он встретил в лице оскорбившего его князя Василия достойного себе соперника, и притом соперника более спокойного и более сильного.

— Вина! — крикнул Разумянский, и, когда Руссов подал ему кубок с душистой влагой, он, с жадностью приникнув к нему, с неистовой яростью думал:

"Я должен уничтожить этого русского, должен, иначе я потеряю уважение всех этих моих скотов... Если так, то пусть лучше Агадар убьет меня... Смерть лучше, чем позор на всю жизнь!"

Выпитое вино сразу бросилось Разумянскому в голову. И толпа, и избы, и небеса, и земля закружились и завертелись в его глазах. Только один Агадар-Ковранский продол-

жал стоять по-прежнему. Это ясно видел пан Мартын, и снова бешенство овладело им. Он сознавал, что симпатии большинства зрителей на стороне его противника, и это еще более разъярило его. Еще не отдохнув как следует, он снова, в третий раз, кинулся на Агадара, и опять залязгали сабли...

— У-ух! — вдруг раздался позади князя громкий крик. — Берегись!

Это крикнул Руссов. Агадар-Ковранский инстинктивно оглянулся назад, и в этот момент пан Мартын, воспользовавшись оплошностью противника, вышиб из его рук саблю.

XXIX

ВЫРВАННАЯ ПОБЕДА

В толпе раздался вой и визг, когда сабля Агадар-Ковранского, описав в воздухе полукруг, брякнулась о землю на порядочном расстоянии, а из кучки поляков раздались громкие аплодисменты, крики "виват" рану Мартыну Разумянскому и радостный смех.

Никто из очевидцев этой своеобразной дуэли не сомневался, что Агадар-Ковранский погиб. Нечего ему было ждать пощады от разъяренного до безумия Разумянского!

И в самом деле пан Мартын спешил довершить свою победу. Главное уже было сделано — противник был обезоружен, теперь оставалось только нанести ему роковой удар, и все обиды будут смыты горячею кровью обидчика. Разумянский, дико вскрикнув, кинулся с поднятой саблею на беззащитного врага.

Но недаром в жилах князя Василия текла русская кровь! Кровь татар и калмыков, его отдаленных предков, дала ему в наследство и

непомерную пылкость, и лютость степную, и презрение к жизни, а кровь русских предков, напротив того, внедрила в него стойкость, неустрашимость и стремление, не отчаиваясь ни в каких положениях, бороться до конца — до смерти или победы...

В то мгновение, когда Разумянский уже опускал вооруженную саблей руку, чтобы нанести противнику роковой удар, князь Василий ударил кулаком по ней.

Это была неожиданность, которой отнюдь не учитывал Разумянский. Удар был силен, и пан Мартын, вскрикнув от неожиданной боли, опустил саблю. Князь Василий воспользовался этим и мгновенно схватил противника-победителя в свои могучие объятия, так что кости у бедняги Разумянского захрустели.

— Пусти, дьявол, — задыхаясь, прохрипел поляк, — это не по правилам! Пусти!..

Но он не успел закончить свою фразу. Агадар-Ковранский поднял его в воздух и, дико взвизгнув, перебросил через голову...

Это было делом одного мгновения, но зато какого мгновения! Редко напряжение в массе людей достигало столь высокой степени. Ка-

залось, вся эта толпа вздрогнула, когда Разумянский перелетел через голову Агадара и шмякнулся о землю позади него. Толпа только ахнула и бросилась вперед, прорвав кольцо вооруженных холопов и смяв их.

Пан Мартын лежал, распластавшись на земле, без чувств, но и князю Василию неदेशево достались и спасение, и победа. В пылу борьбы он не чувствовал боли в вывихнутой ноге. Нервное напряжение, дикая злоба и воодушевление покрывали все. Опасение за жизнь пред лицом смертельной опасности удваивало его физические силы, но, как только опасность миновала и победа была достигнута, сейчас же наступила реакция. Страшная, невыносимая боль дала себя знать. Вывихнутая нога уже не поддерживала утомленного тела. Миллионы невидимых раскаленных острий вонзились в мозг князя и обезумили его. Не будучи в состоянии противиться невыносимой, адской боли, князь Василий зашатался. Его глаза смежались против воли, кровь бурной волною ударила в голову и, слабо вскрикнув, он упал без чувств около своего побежденного врага...

Едва он упал, сразу же исчезло всякое очарование.

Надо полагать, что, пока князь Василий оставался на ногах, он был страшен полякам; когда же он упал и бесчувственный и беспомощный лежал на снегу, к ним сразу вернулись и их воинственный задор, и пылкая храбрость.

— В сабли его! Зарубить! Он бился не по правилам! — раздались враждебные крики польских храбрецов.

Но и толпою уже овладела стихийная вспышка. Сельчане вместе с холопами князя Агадар-Ковранского ринулись на польских холопов. Началась ожесточенная драка, в пылу которой никто не обращал внимания на то, что делается около недавних бойцов.

А там уже сверкали польские сабли. Пришедшие в неистовство паны готовились зарубить беззащитного, беспомощного, бесчувственного врага и зарубили бы, если бы вдруг среди всей этой отчаянной свалки прямо под сверкавшие польские сабли не бросилась Ганночка Грушецкая...

— Не убивайте, пощадите! — кричала она.

Вряд ли она и сама соображала, как могло это случиться с нею. Любопытство привлекло молодую девушку, и она успела пробраться почти к самому кругу поединка. Вместе со всеми другими очевидцами его она почти замирала во все время боя. Когда же сабля была выбита из рук Агадара, Ганночке показалось, что все вокруг нее заходило ходуном. Ужас застучал в ее сердце. Девушка даже руками за голову схватилась и дико смотрела пред собой, не слыша громких воплей разыскивавшей ее мамки.

Странное дело! Агадар-Ковранский был для Ганночки совсем чужим человеком; мало того — она страшилась его. Пан же Мартын, напротив того, нравился ей; но, глядя на поединок, она более боялась за князя Василия, чем за Разумянского. Может быть, это было следствием того, что она считала Агадар-Ковранского слабейшим и сначала думала, что он осужден на гибель. Но все-таки его безумно отчаянная выходка, когда он один не побоялся кинуться на толпу врагов, поразила и восхитила ее. Князь Василий сразу вырос в глазах молодой девушки в великолепного ге-

роя; когда же она увидела, как он закачался и упал, в ее глазах все потемнело, она сама была близка к обмороку. Не помня себя, Ганночка кинулась под польские сабли, и ее вопль зазвенел среди шума и гама разгоревшейся свалки.

Появление русской красавицы смутило даже остервеневших поляков. Этим моментом воспользовались несколько прорвавшихся вперед холопов князя Василия и выдернули его из-под ног наступавших на безоружного поляков. Ни эти последние, ни Ганночка даже и не заметили, как исчез бесчувственный князь Василий. Смущенные поляки видели только мертвенно-бледную Ганночку, стоявшую пред ними с распростертыми руками.

— Не убивайте, пощадите, беззащитен он, — повторяла девушка, — а не то и меня убейте тут же...

— Панна! — начал было Руссов, красиво салютуя своей саблей. — Каждое ваше слово для нас закон, но...

Он не договорил. Около Ганночки очутилась ее мамка.

При других обстоятельствах вид перепу-

ганной старушки вызвал бы общий хохот: кика совсем сбилась с ее головы, седые волосы растрепались, сморщенное в кулачок лицо было красно от негодования.

— Боярышня Агашенька, — визгливо кричала она, — да как тебе не стыдно? Мужики дерутся, а ты промеж них... Вот ужо батюшке пожалуюсь на тебя... Пойдем, пойдем скорее! Поезд наш уже обряжен, ехать засветло надобно...

Видя, что на Ганночку нашло что-то вроде столбняка, мамка сейчас же схватила ее и чуть не силой утащила прочь.

А драка все разгоралась. Толпа остервенела и была вся захвачена стадностью. Польские холопы были избиты так, что едва живыми ушли от сельчан. Люди князя Василия все исчезли из свалки, наезжие поляки были предоставлены своим силам. Они подобрали Разумянского и поспешно отступили к крыльцу своей избы.

А на верхней ее площадке стоял, совершенно равнодушно глядя на все происходившее, отец Кунцевич. Ни этот поединок, ни драка как будто вовсе не касались его. Черная

фигура мрачного иезуита казалась грязным, зловещим пятном на белой стене избы. Его безучастное равнодушие вовсе не гармонировало с бурным движением свалки...

Вероятно, не обошлось бы без крови, и поляки были бы смяты и затоптаны, но вдруг среди враждующих явилась жалкая, растрепанная фигура православного священника с крестом в руке. Он бесстрашно кинулся вперед, загоразивая собой наезжих, и громко кричал на своих:

— Вот я вас, анафемы! Погодите вы! Причестия лишу, земные поклоны за епитимью бить заставлю...

XXX ОТЪЕЗД

Если бы не вмешательство отца Иова, священника местной сельской церкви, плохо пришлось бы наезжим нахвальщикам, расстрепала бы их в своем стихийном натиске разъяренная толпа. Но вид святого креста, смелые, понятные даже в своей грубости слова пастыря, подействовали на нее. Толпа отхлынула, а затем мало-помалу стал гаснуть ее пыл, умеряться ее ярость. Ворча, бранясь, насмехаясь, отходили люди прочь.

Только немногие видели при этом, как ушел из села поезд чернавского воеводы. Не до того было, чтобы следить за отъезжающими. Внимание разгоряченных сельчан сосредоточивалось на поляках, и лишь некоторые сбились у домика отца Иова, куда холопы укрыли князя Василия.

Тот довольно скоро пришел в себя. Возбуждение, поддерживавшее его во все это время, еще не спало, и, если бы ему сказали, что Ганночке доставит удовольствие новый поеди-

нок, он не задумался бы кинуться в бой... Но Ганночка Грушецкая была уже далеко, а боль в вывихнутой и натруженной ноге давала себя знать. Агадар-Ковранский страдал невыносимо, но крепился и решительно ничем не выдавал своих страданий.

Отец Иов, суетившийся около князя, видел его страдания, но старался не подавать виду, что замечает их. Он быстро смекнул, что такие гордые, дикие натуры, как князь Василий, глубоко оскорбляются, если кто-нибудь видит их страдания, а тем более высказывает им свое сожаление.

Однако, несмотря на желание сдержаться, отец Иов все-таки не на шутку взволновал больного:

— Уж кому-кому, — заговорил он, захлебываясь от восторга словами, — а боярышне этой наезжей, чернавского, что ли, воеводы дочке, большая честь и хвала! Вот умница-разумница смелая! Уж тебе, князенька, ни за что не сдрбровать бы, кабы она не заступилась.

— Как? Что? — воскликнул князь Василий. — Она за меня заступилась?

— Ну да, выходит так, ежели она под польские сабли, чтобы тебя вызволить — бросилась...

— Меня... она... под сабли? — прерываясь и путаясь в словах, произнес князь. — Она меня спасла? Опять спасла?.. Она?.. А... Тетушка, государыня-тетушка! Спасла она, она!

Из горла больного вырвался прерывистый, хриплый смех, но глаза в то же время сияли счастьем. Он водил по воздуху вытянутыми руками, как будто стараясь схватить кого-то и привлечь к себе.

Отец Иов не на шутку испугался и воскликнул:

— Князенька, что с тобою, милый? Испить не хочешь ли?

Но князь Василий не ответил; он что-то лепетал, но, что именно, старый священник не сумел разобрать. Очевидно, у больного начался бред.

— Ахти, — разводил руками отец Иов, — и ума не приложу, что теперь делать: как будто взял силу злой недуг. Позвать, что ли, кого-либо из князевых людишек?.. Попадья, а, попадья!

На этот зов никто не откликнулся. Попадья была на площади, и отец Иов был один около больного, которого, по его мнению, нельзя было оставить одного. Однако старик уже решился на это и даже двинулся к порогу, но вдруг дверь открылась и в маленькой уютной горенке православного священника появилась злобная фигура иезуита отца Кунцевича.

Войдя, он кивнул головою посторонившемуся от неожиданности отцу Иову и шмыгнул к князю Агадар-Ковранскому.

Тот лежал, откинувшись на подушки, его глаза были широко раскрыты, но вряд ли он видел что-либо пред собою. То его губы складывались в блаженную улыбку, то вдруг все лицо искажалось от невыносимой боли. Кунцевич осторожно взял руку больного и прощупал пульс, а потом притронулся к пылавшему лбу князя и слегка покачал головой.

Прикосновение привлекло внимание больного. Князь Василий взглянул на иезуита, и на его лице отразился ужас.

— Кто ты, кто? — закричал он. — Неужели сама смерть! О, не подходи, не подходи! Я не

хочу умирать, не хочу! Она пожалела меня, спасла меня, она любит меня... Прочь, прочь! Я жить хочу, жить!

Крик быстро перешел в протяжный, нечленораздельный рев. В ужасе князь Василий забился к стене и вытянул вперед руки, как бы защищаясь от ужасавшего его призрака.

— Прочь, прочь, уйди! — закричал он.

Отец Кунцевич снова покачал головой и, повернувшись, заскользил к двери. На пороге он приостановился и тихо проговорил по-русски:

— Его нужно как можно скорее отправить домой! Здесь ему оставаться вредно... Воздух не повредит, но нужно, чтобы ему было совершенно покойно...

Сказав все это, отец Кунцевич бесшумно выскользнул из горенки, оставив отца Иова в таком изумлении, что слова не шли с его уст.

Так в состоянии изумления и застала его возвратившаяся попадья...

— Тьфу, тьфу, тьфу! — отплевывался отец Иов, опомнившись только с приходом жены, — Ихний крыжакон монашек заявился! Черный весь, словно из преисподней выско-

чил; говорит — доставить домой князя надобно...

— Лучше чего быть не может, — поддержала Иова попадья, — вот только пусть паны уберутся...

— Поскорее бы от них и запаха не осталось! — вздохнул отец Иов. — Уж больно наши-то на них осерчали...

— И молодец же ты, поп! — перебила его своей похвалой попадья. — Ишь, ведь как выскочил, один на всех...

— Господь умудрил! Сразу так мысль явилась...

— И не страшно тебе было так?

— Нет, меня, говорю, Господь умудрил, направил, так чего же страшному быть?.. А вот князя-то действительно обрядить нужно, мается он, сердешный. Ты поди, мать, посмотри, как паны уедут, а я тем временем подводу приготавлию...

Попадья не заставила себя просить. Любопытство кипело в ней. Ей казалось, что на площади не все еще кончено. Однако она ошиблась. Пришедший в себя Разумянский так стыдился своего поражения, что спешил

скорее обратиться из села.

"Голыми руками взял меня, — с ненавистью думал он про Агадар-Ковранского. — О, на мою шляхетскую честь пятно позора легло, только кровью я могу смыть его... Клянусь не умирать, пока не отомщу!"

Пан Мартын уже заметил, что его спутники, за несколько часов до этого подобострастно заглядывавшие ему в глаза, теперь, когда он взглядывал на них, потупляли взоры; да и их разговоры стали далеко не так пылки и льстивы, как прежде.

Сборы были недолги. Осыпаемые градом насмешек, даже бранью, покинули поляки село, где приняли их так радушно, а провожали столь недружелюбно. Нехорошо у них было на душе; сказывалась горечь обиды. Но в их положении приходилось держаться смиренненько: в селе было немало сорви-голов, только и выжидавших предлога к ссоре, чтобы закончить разгром польского поезда, которому помешало внезапное вмешательство отца Иова.

Только отъехав несколько верст, поляки почувствовали себя в безопасности, и к ним

начало возвращаться их обычное настроение. Загудели шутки, стал вспыхивать смех. Трунили над литовцем Руссовым, оставшимся без своей "звезды Востока" — Зюлейки. Последняя, будучи страшно перепугана появлением своего лютого властелина, побоялась остаться с поляками и упросила Ганночку взять ее с собою. Руссов отшучивался, как умел, и, побывав у своего возка, вдруг вернулся к товарищам с новостью: не было Зюлейки, но вместе с нею исчез и отец Кунцевич.

— Где он? Куда он мог деваться? — не на шутку забеспокоился Разумянский, когда ему сообщили об исчезновении иезуита. — Не могли же мы оставить его в этом проклятом гнезде!

Руссов вздумал было пошутить, намекнув, что монах не мог покинуть красавицу-персиянку, но Разумянский посмотрел на него так, что у литовца прошла охота к шуткам.

Однако, несмотря на действительно овладевшее им беспокойство, пан Мартын и не думал вернуться назад за отцом Кунцевичем. Польский поезд, спеша нагнать потерянное время, шел все быстрее и быстрее, о иезуите

скоро перестали говорить.

Между тем, когда из села верховые холопы увозили на поповской подводке князя Василия, верстах в трех расстояния, из лесу на дорогу вышел закутанный во все черное человек. Он попросил позволения присоединиться к поезду, а когда старший из холопов-вершников затруднился дать ответ, он прямо сказал, что жалеет больного князя и пристаёт к ним, чтобы вылечить его недуг. Тогда согласие последовало, и черный человек примостился около возницы на облучке подводды. Этим черным человеком был иезуит отец Кунцевич.

ВЫЗДОРАВЛИВАЮЩИЙ

Нервные потрясения, чрезмерное напряжение и физическая боль сломили даже могучую натуру князя Василия. Недуг овладел им, захватив в свою власть, и долго держал его между жизнью и смертью.

Князь Василий не помнил, как привезли его домой. Он страдал невыносимо, но вряд ли сознавал свои страдания. Только когда на кратчайшие мгновения возвращалось в измученное тело сознание, он, как сквозь дымку тумана, видел вблизи себя доброе старушечье лицо Марьи Ильинишны, чувствовал ее полный душевной тоски и сострадания взгляд.

Но рядом со старушкой он видел всю в черном фигуру. Кто это был, князь Василий не знал, а на догадки не хватало времени: сознание возвращалось к нему лишь проблесками.

Была уже цветущая весна, когда могучая натура Агадар-Ковранского одолела наконец тяжелый недуг. Однажды князь Василий вдруг открыл глаза и огляделся кругом.

Яркое весеннее солнце заливало комнату. Окно было приоткрыто, и через него из окружающего сада и леса лились в комнату большого дивные весенние ароматы.

Никогда прежде князь Василий не обращал внимания на природу, даже, пожалуй, и не чувствовал ее, но теперь он вдохнул полной грудью этот напоенный запахами весны воздух и невольно потянулся к солнцу.

— Лежите, сын мой! — раздался около него тихий, вкрадчивый голос. — Пока вам не должно шевелиться...

Князь Василий постарался взглянуть туда, откуда раздались эти слова, и там увидел высокую, тощую фигуру в странном нерусском одеянии.

Это был отец Кунцевич.

Агадар-Ковранский видел его мельком, память сохранила лишь смутный образ этого человека, и теперь он, не узнавая его, напрасно напрягал свой слабо работавший мозг, чтобы припомнить, кто это, но память не давала на это ответа.

— Кто ты? — отчаявшись наконец в своих попытках, чуть слышно прошептал Агадар. —

Такого у меня в дворне нет...

— Тише, тише, — прервал его отец Кунцевич, — повторяю, что вам не следует говорить. Молчите и постарайтесь заснуть. Поговорим после, когда вы достаточно окрепнете.

Он склонился над больным, устремив на него упорный взгляд; в то же время он слегка поводил ладонями пред лицом Агадара, как бы делая гипнотические пассы, и князь Василий чувствовал, словно какая-то неведомая сила заставляет его сомкнуть веки. Прошла минута-другая, и больной погрузился в глубокий сон.

Тогда отец Кунцевич выпрямился, отер со лба проступивший пот и отошел от постели, тихо бормоча:

— Он покорен мне, как овца, и будет во всем поступать так, как я прикажу ему. Это — хорошее приобретение; мой дикарь будет мне надежным сотрудником...

Патер Кунцевич явился в лесное поместье Агадар-Ковранского незванный, непрошенный, никому там неведомый, но скоро стал для всех желанным человеком. Присоединившись к вершникам, везшим обеспамятевшего

князя, он выведал от них, кто теперь будет главным лицом во время болезни Агадара, и, конечно, очень быстро узнал все про тетушку Марью Ильинишну. К ней-то он и явился по прибытии в поместье.

— Ваш молодой князь тяжело болен, — сказал он, — я умею врачевать, и мне жалко стало такого молодца. Если его не лечить, он умрет. Разрешите мне остаться при нем и, ручаюсь, я подниму его на ноги.

Марья Ильинишна сперва оторопела. Предложение было неожиданно, а внезапно появившийся человек был совершенно незнаком ей. Но затем смущение быстро оставило старушку, когда она рассмотрела отца Кунцевича. По его одежде она быстро сообразила, что пред ней польское духовное лицо.

Русские никогда не были нетерпимы в вероисповедальных вопросах, и только толпа, будучи разожжена в своем тупом массовом организме, изредка высказывала свою неприязнь к католикам и к католицизму. Те же, кто стоял повыше, отнюдь не страдали фанатизмом, будучи в религиозном отношении скорее индифферентны. Поэтому и Марья Ильи-

нишна отнеслась к предложению отца Кунцевича без предвзятых "мудрствований лукавых"; напротив того, его сан являлся для нее даже ручательством его добрых намерений. Притом же отец Кунцевич говорил очень вкрадчиво, словами проникал в душу и после двух-трех бесед сумел так войти в доверие к старушке, что она всецело положила на него.

— Добрейший человек, хоть и крыжатик! — не раз говорила она своему наперстнику Дроту. — И притом умеет лечить. Видно, твердо лекарское ремесло знает. Вот бы такого к великому нашему государю приставить! Болеет все пресветлый царь, совсем плох, говорят, стал, а крыжицкий поп, может, его, всемилостивейшего, и поднял бы.

С каждым днем вера старушки в отца Кунцевича все возрастала. Иезуит, конечно, видел это и старался держаться как можно скромнее. Он скоро прослышал, что Марья Ильинишна, в случае если ее ненаглядный Васенька выздоровеет после лечения "крыжицкого попа", собирается сообщить о нем своим московским родственникам, дабы они

попробовали провести его к больному царю Алексею Михайловичу, здоровье которого становилось все плоше и плоше. Это, очевидно, входило в расчеты иезуита. Когда он услышал о намерении Марьи Ильинишны, на его губах зазмеилась довольная улыбка.

Князь Василий оправился сравнительно скоро именно благодаря неусыпным заботам отца Кунцевича. После того как сознание вернулось к больному, выздоровление пошло быстро. Скоро Василий Лукич узнал, кто такой ухаживавший за ним черный человек. Вместе с тем он вспомнил все, что произошло. Чувство торжества овладело им при одном воспоминании о том, как он одолел Разумянского; но вместе с тем радостные слезы проступили на его глаза, когда отец Кунцевич подробно, смакуя каждую фразу, каждое слово, рассказал ему о геройском поступке Ганночки Грушецкой.

— Зачем она так, — не помня себя от счастья, воскликнул князь Василий, — чем я ей столь переболел, что она не побоялась вступить за меня и от смерти меня вызволить? Скажи мне, поп!.. Ведь вы там у себя только и

делаєте, что в человеческие души залезаете. Так тебе все должно быть известно. Скажи мне, просвети меня...

Кунцевич, не раз слыша такие вопросы, всегда хитро улыбался.

— Знать, девичье сердце заговорило, — обыкновенно отвечал он.

— Да ведь она почти не видела меня, — воскликнул раз князь Василий, — да и тогда я с нею неласков был!

— Что же из того, что боярышня Грушецкая тебя, князь, только раз видела! — снисходительно ответил иезуит. — Великая природа вложила в человеческие сердца постоянно тлеющие искры любви. Часто бывает так, что достаточно малейшего ветерка, чтобы из маленькой такой искры вспыхнуло великое пламя. Кто знает женское сердце! Быть может, твоя победа над Разумянским и была таким ветерком.

— Значит, по-твоему выходит, что Агаша любит меня?

— Я уже сказал тебе, князь! — уклончиво ответил иезуит. — Кто может знать женское сердце? Кто может утвердительно сказать,

любит ли оно или не любит? Я — не Бог, а только скромный служитель Его алтаря. Ты сам должен узнать это...

— Но как, как? Скажи мне!

— Прежде всего выздоравливай скорее, а потом поезжай в Чернавск, примиришь там с отцом юной панны.

— Клянусь, я сделаю это! Давно пора прикончить миром эту дедовскую ссору. Ну, а потом что?

— Потом поступи так, как подскажет тебе сердце...

Князь Василий закрыл лицо ладонями рук.

— Да, да, — зашептал он, — я знаю, как поступить. Брачные венцы внуков покроют ссору дедов. Не может быть, чтобы Семен Грушецкий не принял моих сватов! Да тогда я его со света сживу. Пусть будет так, возьму Агашу себе женой.

Князь, предавшийся мечтам, не видел, как дьявольская улыбка промелькнула на лице иезуита, слышавшего эти вслух произносимые мечты влюбленного юноши.

ВСТРЕЧА ПОСЛЕ РАЗЛУКИ

Прав был иезуит Кунцевич, когда на полный любовной тревоги вопрос князя Василия ответил философской глубины вопросом: "Кто может знать сердце женское?". Да, кто действительно может знать его, кто проникнет в его бесчисленные тайны, угадает, каким законам оно повинуется, под каким ветром, в какую сторону клонится; сердце женское, да особенно девичье — что тростник прибрежный, что морская гладь над бездонной пучиной. Тихо стоят воды, не шелохнутся и вдруг заколышутся, словно буря налетит неожиданная-негаданная и обратит недавнюю тишь в кипучий ад.

Вряд ли и сама Ганночка могла бы ответить на такой вопрос, если бы он был предложен ей. Она была еще так молода, столь многое в жизни было не изведено ею, что ей было не по силам разбираться во внезапно нахлынувших чувствах и решать вопросы, которые даже искушенной жизнью женщине не все-

гда разрешить по силам.

Без всяких приключений добрался поезд до границ Чернавска, где воеводствовал Грушецкий. Тут была уже ровная дорога, оживленная, людная; сторона была промышленная, здесь часто ходили караваны с различными товарами, воеводу Федора Семеновича знали хорошо, а потому и его дочку всюду встречали низжайший поклон и доброе уважение.

Впрочем, последнее, пожалуй, далеко не было следствием того, что Ганночка приходилась местному воеводе дочерью.

— Раскрасавица боярышня-то, — говорили многие встречные, без всякой церемонии заглядывая в возок, где были Ганночка, Зюлейка и старая мамка. — Недаром по всей округе слух идет, что умница-разумница она: на рубеже взрощена и там она всему научилась. Не то, что наши Чернявские кувалды, ничего не боится. Ишь, как она за земляка-то вступилась пред польскими нахвальщиками! — вспоминали дорожное приключение Ганночки, о котором и сюда уже успела донестись быстролетная весть.

Эти толки долетали до слуха молодой девушки и подчас заставляли ее сильно краснеть. О безумно смелой выходке молодой боярышни к ее приезду говорили уже повсюду в городе. Было много фантастических подробностей, совершенно не соответствовавших действительности; но все толки и пересуды были в пользу Ганночки, а между тем она и сама не понимала, что же геройского в ее поступке, за что следует хвалить ее. Ей ее поступок казался совершенно уместным, хотя и противоречащим многим тогдашним обычаям. Но Ганночка думала, что иначе она и поступить не могла. Ведь на ее глазах совершалось убийство беззащитного, за которого и заступиться было некому, так как же ей было не сделать попытки вызволить князя Агдар-Ковранского из-под польских сабель?

Тем не менее она сильно побаивалась предстоящей встречи с отцом. Воевода Семен Федорович был человек простодушный, незлобивый, но все-таки и он жил, как жили все его современники, а по их понятиям женщины не должны были слишком выставляться там, где сверкали обнаженные сабли. С за-

мирающим сердцем подъезжала Ганночка к Чернавску. Это был небольшой городок, окруженный деревянными стенами, защищавшими от всяких возможных нападений главный собор и присутственные места, дом воеводы, торговую площадь и склады товаров. В стенах жили немногие особенно именитые и зажиточные чернавские люди. Зато вдоль стен, спускаясь к реке, лепились домики чернавской бедноты. И тогда много было полуголодных, куда больше, чем счастливых богачей!

Когда воеводский поезд подъезжал к Чернавску, было утро праздничного дня. Еще издали слышен был звон немногих колоколов, к которому присоединялись глухие, нестройные, похожие на хаотический шум звуки церковно-набатных бил.

Как-то у всех поезжан неловко на душе стало, когда пред их глазами, словно вынырнув из прибрежных холмов, вдруг показался давно желанный Чернавск. Старшой Серега даже шапку бросил оземь, и, поскребши в затылке, вполголоса сказал вертевшемуся поблизости от него Федору:

— Ах, мать честная, Федюнька!.. Вишь,

приехали.

— Приехали, дядя Серега, приехали, — уныло ответил недавний отчаянный герой. — Что-то теперь будет? Грозен, поди, боярин Семен Федорович, страшна мне его расправа.

— Никто, как Бог! — столь же уныло ответил старик. — Уж как-никак, а мы свое дело сделали, боярышню уберегли, не щадя живота. Что там ни будет, а ехать надобно.

Столь же приуныла и старая мамка. Ведь Сергей и Федор свой долг до конца исполнили, по крайней мере, опасного часа не проспали, а она, старая, примостилась на теплую лежанку да чуть было боярышню и не проворонила.

— Ахти, будет беда! Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его! — то и дело вздыхая, лепетала старуха. — Ежели у боярина променя батогов мало, так уж я не виновата. Целую бы рощу о мою старую спину обломать следовало бы. Как и докладать буду Семену-то Федоровичу — не знаю, а докладать нужно.

С ненавистью взглядывала она на весело щebetавшую Зюлейку, но это нисколько не успокаивало ее страха.

Веселее всех в поезде была молодая персиянка. Она беззаботно отдавалась счастьем внезапно вернувшейся к ней свободы. Будущее нимало не пугало ее: хуже того, что было, вряд ли и быть для нее могло. Зюлейка верила, что воевода Грушецкий отнюдь не отошлет ее назад к князю Агадару; у нее создавалась уверенность, что Ганночка заступится за нее. И в самом деле, молодая девушка относилась к ней с редкой сердечностью и уже решила упросить отца оставить эту несчастную женщину при ней, в Чернавске.

Подъезжая к городу, Ганночка от нетерпения высунулась из оконца возка и не спускала взора с вившейся среди талого снега дороги. Вот она заметила, что впереди показались вооруженные вершники, окружавшие большую зимнюю колымагу, и угадала, что это — отец.

— Батюшка, батюшка! — вскричала она. — Родимый батюшка обеспокоился, навстречу мне выбрался. Серега, кучера, поезжайте живее! Вон там государь-родитель встречает.

Лошади сильно рванули, и Ганночка едва не выпала из возка. Встречные тоже прибави-

ли ходу, и скоро обе партии встретились. Легче птички выпорхнула Ганночка из возка и кинулась на шею красивому старику, простершему к ней свои объятия.

Отец и дочь встретились. Молодая девушка непритворно рыдала, приникнув к груди родителя; проступили слезы и на глазах Семёна Федоровича. Кругом моментально собрался досужий народ Чернявский, проведавший о том, что воевода Грушецкий выехал встречать приехавшую с рубежа дочку. Видя эту нежную встречу, многие прослезились, кое-кто стал всхлипывать, а незаметно подобравшаяся мамка со счастья и страха за будущее даже навзрыд плакала.

— Соколик ты наш, — выкрикивала она сквозь слезы, — Сподобил меня Господь снова увидеть тебя, милостивца! Уж не вели казнить, ежели в чем провинились мы, а коли что заслужили при твоей милости, так не откажи, пожалей бедноту нашу.

Она, обливаясь слезами, целовала руки боярина и, наконец, от избытка чувств повалилась ему в ноги прямо на снег.

— Ну, полно, полно, старая! — сказал ей

Грушецкий, несколько смущенный ее пылом. — Подожди, дай время разобраться, ужо посмотрю — казнить тебя, старую, надобно иди жаловать. Эге, да вон и Серега. Невесел что-то старик. Али и ты нашкодил что?

Грушецкий бросил это замечание своему холопу лишь вскользь, только для того, чтобы не обидеть его своим невниманием; но, мимолетно взглянув на своего старшого, он заметил, как лицо у того побледнело. И невольно в голове Семена Федоровича промелькнула тревожная мысль:

"А ведь у них какое-то неблагополучие случилось в пути".

Однако эта мысль только промелькнула и исчезла, будучи поглощена радостью долгожданной встречи с дочерью.

— Государь-батюшка, — воскликнула Ганночка, ласкаясь к отцу, — сколь же долго я не видала тебя!.. И какой же ты ладный стал! Вот матушка покойная на тебя взглянула бы, то-то обрадовалось бы ее сердечушко! Видно, и ее молитва за тебя, батюшка-родитель, до Господа дошла...

— Ну, ладно, ладно, дочурка милая! — лас-

ково произнес боярин, подводя Ганночку к своему возку. — Царство небесное покойнице нашей! Жалею я, что нет ее с нами, а то полюбовалась бы она на тебя. Экая ты у меня красавица! Видно, вся в польскую роденьку пошла. Совсем хоть царской невестой быть...

— Что ты, батюшка, что ты! — смущенно проговорила она, потупляя взор. — Ни за кого я не хочу идти, век с тобой провекую.

— Даже за царя-государя не пойдешь? — ласково засмеялся Семен Федорович. — Ой, девка, не лукавь!

— А на что мне царь-то? — оправившись от смущения, защебетала девушка. — Не хочу я его, да и он меня не возьмет. У него на Москве красавиц много. На что ему я, прирубная полесовка? Да и старый он. Взаправду, батюшка, царь наш помирать собрался?

На лицо Семена Федоровича набежала легкая тень грусти.

— Ладно, дочка, — несколько сумрачно проговорил он, — обо всем том мы с тобой поговорим, как ты после дороги отдохнешь. А теперь садись-ка в мою колымагу; в моих хоромах протопоп с молебном ждет. Ну, трогай,

ребята! — крикнул он, сам забираясь вслед за дочерью в тяжелый экипаж.

XXXIII

ПОД РОДИТЕЛЬСКИМ КРОВОМ

Совсем незаметно промелькнули для Ганночки первые дни ее пребывания под родительским кровом. Уж очень ласков был к ней Семен Федорович. Он не спускал взора с приехавшей дочки и не задавал никаких вопросов о том, как она свершила далекий путь от рубежа до Чернавска,

Воевода Семен Федорович Грушецкий был на редкость добряк по свойствам своего характера. Московская кровь как будто утихомирила в нем ту пылкость, которая передана была ему его польскими предками. В его внешности не было ничего такого, что хотя несколько напоминало бы поляка. Он был широк лицом, голубоглаз, рус, румян, не особенно склонен к позированию, а больше любил простоту и отличался простодушием и незлобием.

В Чернавске все любили Грушецкого. Он

не был ни мздоимщиком, ни лихоимщиком, не грабил подвластного ему народа, правил суд справедливо, и хотя были у него враги, обиженные более всего на то, что новый воевода не потакал их часто нечистым домогательствам, но и те отзывались о нем, как о человеке неподкупном и о таком воеводе, которого уже давно не было в Чернавске.

Вместе с тем Семен Федорович отнюдь не был честолюбив. Если он добивался царевой службы, то лишь потому, что ему казалось стыдным сидеть как опальному без всякого государева дела у себя в вотчине, и хотя чернавское воеводство было незначительно, но тем не менее он был доволен и этим.

Однако и у Грушецкого, как почти у всех русских дворян того времени, была затаенная мысль. Он знал, что его дочь очень красива, знал также, что старший сын царя Алексея Михайловича, наследник престола, царевич Федор Алексеевич, еще не принял брачного венца; стало быть, впереди был неизбежен сбор по всей России невест на царский смотр, и — кто знает? — быть может, и ему, сравнительно мелкому служивому дворянину, улыб-

нется слепое счастье, и его ненаглядная дочка увидит у своих малюток-ножек платок юного царевича, а, быть может, к тому времени уже царя.

Печальный пример Евфимии Всеволожской [1] как-то был позабыт. Вспоминали только счастливые дни ее отца — Рафа, а о падении его и не думали. У всех пред глазами были нежданно-негаданно выбравшиеся на большую высоту сперва Милославские, а потом Нарышкины, и каждый, у кого была красивая дочь, думал, что и для него возможен такой же шаг на головокружительную высоту, какую занимали царские тести и шурья и прочая родня царицы.

Семен Федорович никогда никому не говорил о своих тайных мечтах; мало того, он даже не считал возможным, чтобы до большого дворца Московского Кремля достигли слухи о красоте его дочери. Еще более того он боялся, что такое возвышение не сделает его ненаглядную Ганночку счастливою; но все-таки нет-нет да и сверлила его мозг мысль о том, что и он может стать тестем московского царя.

Старик, от природы рассудительный, незаметно наблюдал за дочерью после ее приезда. Он очень скоро согласился на ее просьбы оставить Зюлейку и с виду совершенно равнодушно выслушал рассказ Ганночки и о ночлеге в прилесном жилье князя Василия Агадар-Ковранского, и о приключении в попутном селе. Однако он все-таки не отнесся равнодушно к этому рассказу и своим родительским сердцем почувствовал тут что-то недоброе.

Ганночка, конечно, промолчала ему о гаданье в подвале, но когда она упомянула о князе Василии, то Семен Федорович сейчас же припомнил дедовскую ссору. Сам он был совершенно равнодушен к той обиде, какую нанес его предок предку Агадар-Ковранского; кстати, он никогда в жизни не видал князя Василия и даже не слыхал ничего о нем. Но он все-таки полагал необходимым считаться с русскими обычаями, и встреча дочери — внучки обидчика — с внуком обиженного невольно нагнала на него тревогу.

Он часто вглядывался в лицо Ганночки, стараясь прочитать на нем какие-либо зата-

енные ее мысли, но Ганночка всегда была весела и спокойно, без малейших признаков смущения, выдерживала пристальные взгляды отца. Ведь ей и в самом деле нечего было смущаться; она-то знала, что ничего дурного с нею не произошло и что она ни в чем не провинилась пред родителем.

Именно это и прочел Семен Федорович на лице дочери, но все-таки тревога не оставила его. Его немало смущало то обстоятельство, что старый Сергей всегда потуплялся, когда ему приходилось говорить со своим господином. Иногда он даже бледнел. Старая мамка тоже выдавала свое смущение. И все это убеждало старого Грушецкого, что с его дочерью в пути произошло нечто такое, что эти люди хотели скрыть от него. В конце концов он решил произвести опрос и, начав с Сергея, узнал, что произошло в доме Агадар-Ковранского.

Сергей ни в чем не потаился, сказал и о том, как ходила к ворожее боярышня, и как он с Федюнькой, опасаясь, чтобы не случилось какой-либо беды, пробирался по разным переходам в подземный погреб, дабы оберечь

боярышню. Он сообщил Семену Федоровичу и о том, что старая мамка заснула непробудным сном и, конечно, указал, что такой сон старушки явился следствием подсыпанного ей в питье или еду снотворного зелья. После с подробностями, но совершенно правдиво, рассказал он и то, что случилось в проезжем селе.

Чистосердечный рассказ преданного холопа успокоил Грушецкого.

"Ну, что ж, — подумал он, — ежели Ганночка гадать ходила, так это пустое, на то и молодость... Ну, слава Богу, вижу теперь, что зла не вышло; Господь отнес. Кто знает, что случилось бы, если бы этот князь дома оставался? Нужно бы Серегу батогами наказать за то, что он завез дочку в такую трущобу... Ну, да Бог с ним! Ежели худа не вышло, так чего с него и спрашивать?".

Он успокоился, но все-таки продолжал наблюдать за дочерью.

После того как прошло порядочно времени, и девушка окончательно пообжилась в новом доме родителя, с нею, как заметил Грушецкий, действительно стало твориться

нечто особенное. То она вдруг становилась возбужденно весела, то вдруг на нее словно грусть беспричинная ложилась, и не раз Семен Федорович замечал на ее глазах слезинки.

— Что, Агашенька, — спросил он ее однажды, стараясь быть шутливым, — скажи-ка, милая, какая грусть у тебя на сердце лежит? Примечаю я, будто сама ты не своя.

— Ой, государь-батюшка, — ответила дочь, — да с чего это ты на меня напраслину взводишь? Никакой у меня думы на сердце не лежит, кроме одной — чтобы тебе во всем угодной быть.

— Да, говори! — пошутил Семен Федорович. — Ваше девичье дело отлетное: у отца живете, а сами так на сторону и смотрите.

— И с чего это ты, батюшка, взял? — попробовала протестовать Ганночка. — Кажись, никто за мной ничего не заметил.

— Знаю я вас, девок, видал на своем веку-то! Приглянется вам сатана пуще ясного сокола, вот и томитесь, и не знаете, что с собой делать. Ну, да что ж, так уж вам Богом положено. Ежели люб кто — говори прямо; по-

смотрю, кто такой, и, коли мало-мальски подходит, перечить не буду, с Богом — честным пирком да и за свадебку. Пора и мне, старику, внученков понянчить...

Краска залила щеки молодой красавицы, когда она услышала такой разговор отца. Она смутилась, готова была плакать, но когда, оставшись одна, спросила себя самое, что же с ней в самом деле такое, но подыскать ответа не могла. Двое были пред ней — Разумянский и Агадар-Ковранский. Один нравился ей, другого она боялась. Но ее девичье сердце — почему именно, Ганночка и сама не знала, — больше лежало ко второму, чем к первому. Но все-таки это были лишь внешние чувства, весьма далекие от какого бы то ни было намека на любовь. Когда Ганночка начинала думать о них, то ее сердце молчало. Ей припоминался тогда не Разумянский и не Агадар-Ковранский, а кто-то третий, тот, кого она видела в клубах синеватого дыма около разведенного старухой Асей костра. Этот неведомый образ врезался в ее память, запечатлелся в ней, и хотя тот молодец далеко уступал и поляку, и русскому князю, но все-таки он по-

чему-то был мил девушке и постоянно царил в ее мечтах.

Время же не шло, а летело. Стаяли последние снега, зазеленела земля, птички весело и радостно защebetали; пришла весна благо-
вонная, и непонятною истомою наполнилось сердце Ганны...

Случилось же так, что как раз в это время сразу напомнили о себе и пан Мартын Разумянский, и князь Василий Лукич Агадар-Ковранский; они напомнили о себе тогда, когда о них и вспоминать перестали в Чернавске, у воеводы Семена Федоровича.

От пана Мартына прибыл к воеводе Грушецкому посланец. Это был любимец Разумянского, литовец Руссов. Он приехал якобы для того, чтобы исполнить долг вежливости и осведомиться, благополучно ли добралась яс-
новельможная панна Ганна до своего батюшки.

Семен Федорович был от души обрадован этим появлением посланца. В нем сказывалась польская кровь, и он любил этих аристократов славянства, как называют теперь поляков; ему не претили ни их напыщенность,

ни ходульность. Руссова он принял как самого дорогого гостя, и, конечно, между ними только и разговору было о дорожном приключении, в котором сыграла такую большую роль Ганночка. Руссов умел и прихвастнуть, и поналгать с три короба и изобразил князя Василия лютым зверем, которого отнюдь не жалко было бы убить.

Грушецкий, слушая его, только головой покачивал да пыхтел от негодования.

— Бок о бок с моим воеводством живет, и у меня на него руки короткие? — воскликнул он. — Уж попался бы он, так я показал бы ему, как лютовать. Он у меня по струнке ходил бы и пикнуть не посмел бы.

Руссов, цриметивший это негодование старика, постарался распалить его еще более и, конечно, при этом расхваливал Ганночку, рассказывая, как она заступилась за лесовика Петруху и смело бросилась защищать пана Мартына Разумянского от неистовой лютости князя Василия.

Семен Федорович слышал этот рассказ поиному, но так как Руссов успел внушить ему предвзятые мысли, то он больше верил его

расскажам, чем сообщению провожавших его дочь холопов.

Руссов пробыл немного больше суток и уехал, оставив по себе наилучшие воспоминания. Вскоре после него прибыли послы и из поместья Агадар-Ковранского.

Впечатление от этого посольства было другое, обратно противоположное. Они были посланы не самим князем Василием, а его тетушкой Марьей Ильинишной. Уже это одно неприятно подействовало на Семена Федоровича. Присланы были холопы, и Грушецкому показалось, что подобное посольство было направлено к нему с целью нанести ему обиду. Присланные не сумели объяснить, что князь Василий настолько болен, что даже и не знал об этом посольстве. Они били воеводе поклоны и в один голос твердили, что государыня-тетушка князя, Марья Ильинишна, приказала благодарствовать да еще о здоровье воеводы и боярышни спросить. Да сверх того наказывала она сказать, что приедет, дескать, вскоре в Чернавск сам князь Василий Лукич, так пусть же его воевода примет честно, как то подобает его княжескому роду.

Эта передача поклонов Марии Ильинишны неумелыми холопами не на шутку оскорбила Семена Федоровича. Он так разобиделся, что даже не стал угощать посланных, а приказал только покормить их да поскорее отправить за околицу — пусть, дескать, себе едут назад, злом его, воеводы, не поминая.

Ганночка, конечно, знала и о том, и о другом посольствах и тоже несколько обиделась. Ей хотелось бы, чтобы приехал к ним сам князь Василий, а присыл холопов показался ей как бы подчеркиванием того, что Грушецкие стоят ниже Агадар-Ковранских. Однако, несмотря на неудовольствие, ни отец, ни дочь ни словом не обмолвились о своих впечатлениях и не упоминали о посланцах князя Василия, как будто их и вовсе не было. А тут из Москвы вдруг был прислан гонец с приказом Семену Федоровичу ехать к царю государю, чтобы сказать ему, каковы дела в Чернавске.

Сильно обрадовался этому Грушецкий. Такое приказание было своего рода снятием опалы с него и открывало ему путь к повышениям.

— Вспомнил государь меня, вспомнил! — говорил он. — Понадобился и я ему. Что ж, поеду, нимало не медля, предстану пред его светлые очи. Только Агашеньки своей теперь одной не оставлю здесь. Пусть голубушка со мной едет! Надо и ей на Москву посмотреть; не все ей в здешней мурье киснуть! На Москве, может быть, и жених хороший найдется.

XXXIV

РАЗБИТЫЕ НАДЕЖДЫ

Родительское сердце не обманывало Семена Федоровича. Если не серьезная опасность, то, во всяком случае, не особенно приятная встреча была близка к его дочери. В то самое время, когда Грушецкий собрался в Москву, к Чернавску чуть не стрелою летел влюбленный князь Василий. Он так жаждал встречи с полюбившейся ему Ганночкой, что ему казался бесконечным путь от его поместья до Чернавска.

Отца Кунцевича с ним не было, тот отпустил его одного. Вероятно, это входило в пла-

ны иезуита, так как, отпуская князя, он обещал непременно ожидать его на пути и уже вместе с ним отправиться в Москву, если только не будет ему удачи в сватовстве.

Отец Кунцевич добился своего. Тетушка Марья Ильинишна дала ему грамотки к своим московским родичам, в числе которых оказались большие благоприятели с наставником царских детей, киевским монашком, дворцовым пиитою Симеоном Полоцким.

У иезуита даже глаза заблестели, когда он услышал это хорошо знакомое ему имя. Это была такая зацепка, что он мог считать задуманный план выполнимым с полнейшим успехом. Крепко зашил отец Кунцевич полученные от Марьи Ильинишны грамотки в нагрудный мешочек и отбыл, благословляемый всеми чадами и домочадцами лесного поместья, видевшими в нем избавителя от лютости князя.

Агадар-Ковранский же мчался с преданными ему холопами в чернавское воеводство. Разные думы вихрем метались в его голове; опять возвращалась к нему прежняя своевольная лютость; недавнее смирение как ру-

кой сняло, и нарождалась даже еще большая свирепость.

"Уж если только не отдаст за меня этот старый хрыч Грушецкий Агашеньки, если и меня осрамит, как его дед моего деда осрамил, так я все его чернавское воеводство разнесу. Жив не буду, ежели не сделаю так!.. Все равно мне погибать без Агашеньки, света моего".

Однако у чернавского воеводы были свои приспешники, прирученные словом и добрым, и ласковым. Они уведомили его, что вырвался на волю хищный волк князь Василий и направил лет свой прямо к нему.

Отеческим чутьем догадался Грушецкий, чего нужно князю. Наскоро собрал он свою ненаглядную Ганночку в путь-дорогу, окружил ее нянюшками-мамушками, сенными девушками, отобрал наиболее преданных холопов и, опять поставив во главе старого Серегу с Федюнькой, отправил всю эту многочисленную компанию на богомолье в дальний монастырь, а сам остался в одиночестве поджидать незваного гостя.

"Уж я употчую его! — думалось Семену Федоровичу. — Поздно хватился, сокол ясный.

Не холопов бы с поклоном да с челобитьями посылать, а самому бы явиться да смиренно хонько просить, чтобы я его пожаловал, дедовские обиды ему простил. Ну, а теперь-то пусть покрутится. Чернавск — не лесная трущоба, здесь не разгуляться ему; живо укротить сумею!"

А князь Василий, прискакав в Чернавск, кинулся к воеводскому двору. Разлетелся он со своей оравой — глядь, а ворота заперты и стража около них стоит.

— Эй, отворите! — закричал он с коня. — Нужно мне к воеводе по спешному делу.

Старший из стражников, словно нехотя, спросил:

— С Москвы, что ли, будешь?

— С какой там Москвы? Сам от себя! Говорю, что воеводу нужно видеть. Пусть встречать выходит.

В ответ ему раздался смех.

— Чего гогочете? — не помня себя от бешенства, замахал нагайкой князь. — Биты, что ли, давно не были? Так вот я вас! — и он, соскочив с коня, кинулся к наибольшему стражи.

— Ну-ну! — легонько отстранил тот его. — Ты, добрый молодец, полегче! Ведь мы — люди царские, нас всякому бить нельзя, на то у нас свои начальники есть. А ежели не пущаем мы тебя, так ты нас не вини: не велено самим воеводою пущать. Ежели из Москвы кто гонцом, так это — другое дело, а ты вон сам от себя.

Чуть не в первый раз в жизни князь остановился, не зная, что делать. Хотя он и грозил разнести весь Чернавск, но эта угроза только сторяча была, просто обычный пыл сказался. Ведь всякое насилие тут было бы бунтом против царского величества, а за такие дела в то время не миловали.

Пока Агадар-Ковранский стоял, недоумевая, как ему поступить, двери воеводского дворца распахнулись, и вышел сам Семен Федорович в полном парадном одеянии воеводском: тканом кафтане, длиннополом летнике, в высокой шапке. Оглядевшись вокруг гордым взором, он уставился на молодого князя, стоявшего у нижней ступеньки крыльца, и крикнул:

— Что за шум? Эй, стража, что случилось?

— Государь-батюшка воевода, — закланялся набольший стражи, — не нас, а вот его суди, — указал он на князя Василия. — Пришел он неведомо откуда и будто за разбойным делом. Говорит, что сам от себя и тебе о чем-то бить челом желает.

— И не с челобитьем я пришел, — закричал снизу князь Василий. — Незачем мне, природному князю Агадар-Ковранскому, к мелкопоместному столбовому дворя-нинишке с челобитьями ходить.

— А, так это — ты, князь Василий Лукич? — почти ласково заговорил Грушецкий. — А я-то и не знал того. Ну чтоб тебе уведомить меня? Иду, дескать, в гости! Тогда бы и прием был другой.

Он сделал вид, что не расслышал дерзости пришельца, протянул к нему руки, а между тем не сделал ни шагу вперед.

Агадар-Ковранский был весь красен от душившей его злобы. Он весь дрожал, вспоминая, что вот так же, как он теперь, пред отцом этого старика стоял его дед, выданный головою на бесчестье.

Грушецкий словно не замечал, какие чув-

ства волнуют его незваного гостя.

— Милости же просим, князенька, — ласково заговорил он, — уж что поделать: назвался груздем — полезай в кузов! Наехал в гости, иди в дом к хозяину, не погнушайся. Время теперь такое, что обед на столе. Откушай моего хлеба-соли, да кстати я тебя за любезную мою дочь Агафью Семеновну поблагодарю. Жаль, что вот только нет ее здесь: услал я ее к дальним угодникам на богомолье. Ну, да все равно — мою благодарность примешь.

Словно обухом по голове ударили его слова князя Василия.

"Услали, — подумал он, — пронюхали про меня, окаянные, и встретиться с нею мне воспрепятствовали! Видно, и сватовство мое отвергнуто будет. Нечего тут и голову ломать, и поклоны бить, и дедовскую ссору покрывать не стоит. Все пропало... Еще больше стало зла, чем прежде. Эх, и крыжицкого попа около меня нет, некому посоветовать, как мне быть тут и на своем поставить".

Князь Василий почувствовал, что его горло перехватывает нервная судорога. Он вскочил в седло и, взметнув нагайкой, погрозил ею в

ту сторону, где совершенно спокойно стоял Грушецкий.

— У-у, проклятые! — вырвалось у князя, а потом он, передернув поводьями, круто повернул коня, ударил его нагайкой так, что на бедре остался кровавый след, и неистово помчался от воеводского крыльца. Его холопы, растерянные и смущенные, последовали за ним.

— С чего это он? Что с ним? — развел руками Семен Федорович, как бы говоря сам с собою. — Уж не ума ли рухнулся? Не дай Бог, ежели лютая хворость какая возьмет. Ведь из князей Агадар-Ковранских он последний, знатный род с ним пресечется.

Так он говорил для людей, а сам думал: "Нет, скорей на Москву ехать, а то еще беды натворит этот сорви-голова. Хорошо я сделал, что Агашеньку услал!".

XXXV НА МОСКВУ

Пока это неожиданное горе разразилось над головою князя Василия, иезуит отец Кунцевич добрался до того перепутья на дороге в Москву, где он условился свидеться с Агадар-Ковранским. Это был небольшой поселок, в котором редко останавливались проезжие, и потому отец Кунцевич мог быть вполне уверен, что никто ему не помешает день-другой отдохнуть от всего того, что он пережил в эти долгие дни. А в отдыхе он действительно нуждался.

С самого того момента, когда он расстался с Разумянским, этот человек необыкновенной выдержки, преданный фанатической идее всемирного господства папизма, жил в исключительном нервном напряжении. Удивительно, как могли выдержать его нервы столько дней искуснейшего притворства! Во все время нахождения при Агадар-Ковранском отец Кунцевич сплошь играл. Он ненавидел русских за то, что они были схизмати-

ками и не покорялись царствующему Риму; он желал, чтобы и тогда уже громадный народ, весь целиком по учению его религии осужденный на загробные мучения, так или иначе признал Рим главою всех помыслов своей души и обратился в послушное стадо римского первосвященника.

Этой идее отец Кунцевич служил с пылким фанатизмом, забывая, что, прежде чем стать католиком и иезуитом, он сам еще во чреве своей матери был славянином, таким же славянином, как и те, которых он так яростно ненавидел. Может быть, эта ненависть исходила из того, что отец Кунцевич был страстным патриотом, слепо любил свою Польшу и не замечал того, что это могучее государство заметно разлагалось и теряло свои недавние богатырские силы, тогда как силы Москвы все возрастали, и погибавшей Польше все чаще приходилось терпеть поражения.

То время, которое иезуит предполагал пробыть в попутном поселке, давало ему возможность сбросить все личины и таким образом освежить силы своего духа для предстоявшей

ему борьбы.

Он приехал в поселок около ночи. Князь Василий оказался настолько предупредительным, что послал сюда слуг, и в одной из просторнейших изб поселка иезуиту был приготовлен ночлег, где он мог остаться один с самим собою, со своими думами.

Закусив с дороги, отец Кунцевич растянулся на мягкой постели из сена и хотел было заснуть, но сон бежал прочь. Возбужденный мозг иезуита не хотел покоя и работал с обычной быстротой. Почувствовав, что сна нет, отец Кунцевич подошел к окну. Была чудная летняя ночь; немая тишина стояла вокруг поселка, луна серебрила поля, из лесу неслись ароматы, но отец Кунцевич словно не замечал ничего этого.

"Да, да, — думал он, — женщины в таких делах — великая сила, и если этой красивой девчонке суждено послужить на вящую славу Божию, то да послужит она, я заставлю ее идти желаемой для меня дорогой. Она сама даже не будет этого замечать и пойдет, куда я направлю ее. Да она и не может не пойти: ведь в ее жилах течет кровь ее польских

предков, добрых католиков, и я заставлю ее быть проповедницей истинной веры среди этих обреченных аду схизматиков. Напрасно этот дикий зверь, — вспомнил он про Агдар-Ковранского, — мечтает, что я для него стараюсь. Уж отказ-то он получит. Мой расчет несомненен, и мне нужно, чтобы он получил его. Он влюбился в эту красивую девчонку и пусть себе пылает! Чем сильнее будет его страсть, тем крепче я удержу ее в своих руках. Он будет для нее дамокловым мечом, и я повешу этот дамоклов меч на волоске над ее красивой головкой. Если понадобится, я без сожаления ради вящей славы Господней оборву этот волосок, и меч поразит ослушницу. А ежели мой безумец-князь выйдет из моего повиновения, осмелится противиться мне или хоть смутно поймет те ходы, какие делаю я, стремясь к своей великой цели, то у меня всегда остается в запасе Разумянский, который ненавидит теперь этого русского волка и сделает все, чтобы загладить позор своего поражения. Когда мне будут ненужны этот русский волк и польский гусенок, я сведу их, и они уничтожат друг друга. — Да-да, это так, в

моих расчетах не может быть ошибки. Лишь бы мне-то самому не изменить своей роли!.. Плохо, что я начинаю уже уставать. Подъятое на мои плечи бремя давит меня, дела же впереди много".

Иезуит оборвал свои мысли и несколько времени смотрел в окно. Однако прелесть и тишина дивной ночи, казалось, вовсе не действовали на этого человека: его душа ярилась, мозг по-прежнему был погружен в бездны всевозможных хитросплетений.

"Что же я должен делать там, на Москве? — задумался он. — Прежде всего я, конечно, должен пробраться в покои московского царя. Он умирает, это мне известно доподлинно, однако смерть можно приблизить или отдалить, и я посмотрю что будет выгоднее. Но старый царь Москвы ни на что не нужен мне, мои ходы должны быть направлены на его сына-наследника. Я знаю, что этот юноша — воск мягкий, и из него можно делать все что угодно. Его можно направлять в любую сторону, и он должен послушно идти туда, куда я пошлю его. Вот для того-то, чтобы управлять им, как мне нужно, я и приобре-

таю средство. Оно уже в моих руках, и в них же скоро будет и наследник московского царства. Но что там? Кто там?" — вдруг оборвал себя он.

Не сужден был отцу Кунцевичу желанный отдых. До его слуха ясно доносились стук копыт и фыркание лошадей. Скоро на поле замелькали фигуры всадников. Иезуит понял, что это спешил к нему возвращавшийся из Чернавска после своей неудачи князь Василий.

Да, он не ошибался. Агадар-Ковранский с малыми передышками промчался весь немалый путь. Усталость хотя несколько умерила его гнев, но зато еще сильнее чувствовалась обида. Он спешил к человеку, которому одному на всем свете верил, от которого одного ждал совета, способного успокоить его. Личина уже снова была на отце Кунцевиче, так как этот фанатик идеи никогда не давал себя застать врасплох и не терялся даже тогда, когда ему приходилось действовать экспромтом. Князь Василий еще не успел подскать к избе, как отец Кунцевич уже очутился на ее крыльчке и приветливо замахал рукой на-

встречу ему.

— Что случилось? — торопливо спросил иезуит, когда князь соскочил с коня. — Или неудача, или ты, милый сын, не застал в Чернавске воеводы?

— О-о-о!.. — почти застонал князь. — Будь они все прокляты там. Пусть этот негодный старик попадет в ваше католическое пекло, и там его разорвут на клочки ваши дьяволы.

Отец Кунцевич принужденно засмеялся:

— Ого-го, я вижу, что случилось нечто особенное, и теперь жалею, что не поехал с тобою. Но оставим пока это! Иди в мой приют, дорогой князь. На столе осталось кое-что от моей скромной трапезы. Подкрепи сперва свои силы телесные, а потом расскажешь мне все, что так огорчило тебя. Иди же, иди скорей! Видишь, эти простые люди проснулись, разбуженные тобой. Пусть они идут себе с Богом, а ты успокойся.

Действительно, шум от появления нескольких всадников разбудил почти все население маленького поселка. Но князя Василия здесь знали, и стоило ему только прикрикнуть погромче, как все поспешили разбе-

жаться под свои кровли.

Глядя на спокойное лицо иезуита, князь почувствовал облегчение; но, когда он, отказавшись от еды, осушил несколько стаканов вина, кровь ударила ему голову, и он бурно рассказал отцу Кунцевичу все, что произошло в Чернавске. Тот довольно спокойно выслушал его рассказ.

— Ну, что ты мне скажешь, поп? — быстро спросил князь. — Что делать мне теперь? Подскажи мне, как я должен мстить за новую обиду?

— Прежде всего скажу тебе, сын мой, — проговорил иезуит, после некоторого раздумья, — что для тебя ничего не потеряно. Ты сам виноват, сам себе все испортил. Грушецкий — старик, про тебя же далеко не хорошая слава идет. Как мог он пустить тебя к себе, не зная, зачем ты заявился? А ты еще прилетел, как вихрь, нашумел, набуянил. Да разве гости делают так?

— Я не мог стерпеть, — отозвался князь Василий, тем не менее понурясь, так как чувствовал всю справедливость замечания отца Кунцевича.

— Ага, — воскликнул тот, — вот теперь ты и сам сознаешь это! А теперь подумай-ка: ведь воевода не гнал тебя; сам же ты рассказываешь, что он звал тебя к себе хлеба-соли откушать. Я ваши обычаи хорошо знаю; этим Грушецкий как бы показывал, что никакого зла на тебя не держит. А ты?

— Да как же; звать-то он меня звал, а вперед шага не сделал. Заставил меня внизу под собой стоять. Это не обида, что ли?

— Ну, какая же это обида? — наставительно заметил иезуит. — Грушецкий — старик, а ты молодой. Так не воеводе же было к тебе идти, а ты к нему должен был пойти на зов.

На этот раз князь ни слова не сказал — ему опять пришлось согласиться с доводами отца Кунцевича.

— Так вот и пеняй, милый мой друг, на самого себя и старайся поправить дело своего сердца! — произнес иезуит,

— Да как, как? — пылко вскрикнул князь.

— Да так! Вот ляжем-ка мы теперь спать; ведь утро вечера мудренее, а завтра с тобой проснемся и поедем на Москву. По дороге обдумаем, как твое дело поправить, а на

Москве, что надумаем, то и исполним.

Проговорив это, отец Кунцевич зевнул и побрел к своему ложу.

XXXVI

ДУМЫ ЦАРЯ-ПРОФЕССИОНАЛА

Низенькие покои царских палат в Московском Кремле были пропитаны удушливым смрадом перегорелого лампадного масла да терпким запахом всяких лекарственных трав. Сильно был недужен "горазд тихий" великий царь-государь московский и всея Руси Алексей Михайлович. Совсем еще не стар он был — ему шел только сорок седьмой год, а "сырая натура" давала себя знать. Да и далеко не спокойна была жизнь "горазд тихого" царя. Он любил покой и порядок, свято верил в свое великое назначение на земле, всегда старался быть справедливым, был прекрасным семьянином, но словно злой рок тяготел над ним.

Страдая душой, видел Тишайший, как вокруг него грызлись жадные до власти бояре. Милославские, царская роденька по его пер-

вой жене, Марье Ильинишне, грабили народ, спускали с нищих шкуры, отняв у них сумы. Тиха и кротка была покойная царица, не в роденьку алчную вышла и совсем под пару Тишайшему оказалась, да вот взял ее, праведницу, Господь — видно Ему там, в горних селениях, такие-то нужны!

Не раз вздыхал больной царь, вспоминая свою свет-Машеньку покойную и сравнивая ее с такой "бой-бабой" какою была его вторая жена, Наталья Кирилловна.

Совсем не московского уклада была эта женщина. Прирубешная вольная жизнь сказалась в ней. Такой царицы никогда в Москве не было! Разве безбожница Маришка у Самозванца такая-то была. Во все-то дела государевы она свой бабий нос совала, великого царя-государя учить пыталась, порядки такие развела, что не приведи Господи... Это царский сват Артамон Матвеев ее науськивал да на всякие новшества попускал... Вон что пошло: Васенька Голицын во дворец в куцем немецком платье осмелился прийти да еще проклятым табачным зельем надымил... Ох, совсем последние времена наступили!

Ну, да табачное зелье и куцее платье пустое! Вон в Кукуе никто иного платья и не носит да табачным зельем чуть не мальчишки дымят, а худа от этого нет, и гром небесный никого не раздражает. Господь словно еще посылает кукуевцам Свои неисчерпаемые милости! Каждый простец там не хуже столбового московского дворянина живет, а бояре дворцовые на Кукуй-Слободу то за тем, то за другим частенько из своих палат посылают; добра-то там, видно, куда как много. Стало быть, не противны Господу Вседержителю ни камзолы с короткими полами, ни трубки с дымящим зельем, ни всякие иноземные новшества. Видно, все, что у человека, все — от Бога.

А вот боярская грызня хуже всего; уж она-то от дьявола!

Прежде Стрешневы (матушкина роденька) с Милославскими (жениной роденькой) грызлись да гили разжигали, а теперь Нарышкины ввязались. Милославские да Стрешневы сыты, вдосталь напились крови народной, Нарышкины же еще недавно беднотой были, а потому с голодухи-то так на народ накинута

лись, что сколько ни кровопийству ют, а все им мало.

И ненавистны же эти кровопийцы народные Москве! Не дай Бог гиль — по клочкам их народ разорвет! И что только будет с государством, когда преставится он, царь-государь?

Тяжело вздыхал больной Тишайший; мрачные думы угнетали его утомленный мозг. С ним-то, законным царем, все эти Стрешневы, Милославские, Нарышкины, Черкасские, Хованские, Морозовы, Ордын-Нащокины, Трубецкие, Пушкины считаются, а все же ему, законному государю, куда как трудно управляться с ними! Круто их не повернешь — недавно еще Романовы на престол московский сели, Тишайший всего только второй царь из их семьи. У бояр-то много и друзей, и приспешников прикормлено; ежели будет смута — Бог знает, кто верх возьмет. Ему, царю, престол оберегать надобно, и все он для него делает. Как он своего собинного друга, патриарха Никона, боярам головой выдал, на худую жизнь, сам, плача, обрек, а разве бояре-то — псы, из-за кости грызущиеся, — поняли это, уразумели, какую великую жерт-

ву им государь принес? Какое там! Только и притихли они, когда окаянный Стенька Разин государство на Волге потряс. За свои мерзкие шкуры они испугались и за царя спрятались, а как гроза прошла — опять за свою грызню принялись... Эх, Грозного бы поднять из могилы на эту грызущуюя сволочь [2]!.. Уж, он-то показал бы им, что такое есть на Руси царь-государь венчанный!

И, чем больше думал об этом больной царь, тем все сильнее захватывал его ярый гнев — тайный гнев! Что бы ни было на сердце, а как придут людишки, показывай им радостное лицо, глубоко таи, что думаешь. Эх, тяжелы вы, шапка и бармы Мономаха!

А на смену гневу всегда приходили сознание своего собственного бессилия и тоска, жестокая, гнетущая тоска. Но не о себе тосковал Тишайший, этот пассивный созерцатель, из которого в других условиях жизни по всей вероятности выработался бы могучий философ. Он, великий государь, повелитель жизни и смерти миллионов людей, властитель судеб огромнейшего государства, был венценосцем-профессионалом и честно выполнял свои

обязанности, как тяжелы они ни были ему. Именно в силу этих профессиональных обязанностей он, могущественный, обладавший всею полнотою власти, был в то же время рабом каждого ничтожного выскочки, пробравшегося к престолу хотя бы окольными путями. Царь Алексей знал, что такое власть, и скорбел за того, кому должен был оставить ее после своей смерти.

— Эх, Лешенька, Лешенька! — с тоскою и сокрушением вспоминал он своего второго сына, царевича Алексея Алексеевича, умершего на семнадцатом году своей жизни, — рано тебя Господь прибрал... Спокойно оставил бы я тебе царство свое! Уж ты-то унял бы боярские свары злые, ты прикончил бы их грызню! Вот Софьюшка, доченька милая, такая же, да — жаль! — девкой родилась. Для государева дела в девке какой прок? Много их, девок-то, у меня напложено: Авдотьюшка, Марфинька, Софьюшка, Катенька, Марьюшка, Федорушка первая покойной Машеньки, касатушки моей, да Федорушка вторая от Натальюшки, да Федосьюшка еще, да свет-Наташенька предпоследняя, — считал по пальцам

государь своих дочерей, даже не вспоминая об умершей в младенчестве "второй Авдотьюшке", последнем его ребенке от царицы Марьи Ильинишны, о малолетках-сыновьях Дмитриии, его первом ребенке, и Симеоне.

О царевиче Алексее Алексеевиче Тишайший вспоминал всегда с особенной тоской. Это был юноша, казалось, самой судьбой предназначенный властвовать. Представительный с твердым, как камень, характером, он и подростком наводил на бояр такой страх, какой никогда не заставлял иа испытывать его кроткий отец.

В московском народе, неведомо какими путями — может быть, именно тем, что умел пристрастить кровопийц-бояр, — царевич Алексей приобрел большую популярность. Последняя быстро распространилась по всем уголкам царства, и Стенька Разин был обязан своими успехами тому, что распространил на Волге слух, что царевич Алексей вовсе не умер, а был вынужден бежать из Москвы от боярских злоумышлений и он де, вор Стенька, сбивает народ только на защиту гонимого боярами царевича.

Раз вспомнив о покойном сыне, царь вспомнил и о живых сыновьях.

— О-ох! — вздохнул он. — Всем хорош Феденька-то мой: и разумен, и добр, и всякой премудрости обучен, вот ежели, Бог даст, выживу, пошлю его будто в посольстве за рубеж, пусть посмотрит да поучится, как там добрые люди живут! И хороший из него царь выйдет: на своем он поставить сумеет, когда же нужно, то и поклониться народу православному не затруднится, а вот поди ты — здоровьем слаб: хилый он да сырой, как и я. Не многие лета протянет и Ивднушка, дурачок блажененький. Уж где на этого царство оставить? Ведь его самого без надежного глаза ни на малую минуточку оставить нельзя. Вот разве последыш мой? — И при воспоминании о "последыше", царевиче Петре Алексеевиче, хорошая улыбка так и расплылась по широкому лицу царя. — Вот бы кому на царстве сидеть! Ничего, что ему только четвертый годок идет, а видно сокола по полету. У-у, буян милый! Не дойдет только до него царская чреда! Федора женить нужно, дети-наследники пойдут, а Петруша, огонь-царевич, в стороне останется.

ся... Поздно родился он... последышек милый! А уж кабы он только сел на царство, лихо пришлось бы и Стрешневым, Милославским, и всей остальной боярской сволочи! Грозный царь из него вышел бы! Вон и девки тоже выходят ой-ой какие бунтарки ядреные! Сонюшка им всем на покрыву, да и Марфинька с Марьюшкой ей не уступят. А Сонюшка-то милая — совсем царь-девка; в пору входит, на Ваську Голицына заглядываться начала. Ох, доченьки, доченьки! И зачем вы у меня народились, себе не на радость? Сколь бы вы красивы ни были, сколь бы вам Господь ума ни дал, а придется вас всех по монастырям распихать. И умрете вы, женского счастья не ведая!

ИНТРИГАНЫ СТАРЫЕ И МОЛОДЫЕ

Не раз и не два, а постоянно, терзали и угнетали Тишайшего такие думы. А кругом него бурлило море боярских интриг.

Не умер еще царь, просто недужил, а окружавшее его алчное воронье дралось из-за будущей добычи. Чужали эти стервятники в близком будущем труп, и не было на них никакой управы. Все их помыслы вились около юного наследника.

В особенности волновались Милославские, эти дворцовые выскочки, сознававшие, что все их призрачное могущество висит на волоске. Илье Милославскому юный наследник приходился внуком, и этот боярин-выскочка считал, что у него лично все права на наибольшие почет и власть.

— Совсем несмысленнок царевич-то, — не раз говорил Илья Данилович, — дитя малое! Нельзя ему без опоры оставаться, а кому же при нем и опорой быть, как не нам, родному его деду! — И, цепляясь за могущество, плел

паутину интриг этот старик, стоявший у самой могилы. — Да, да, — шамкал он беззубым ртом на своем смертном одре, — наше пусть при нас и остается. Не выпускайте царевича!

Умер старый интриган и во главе его рода стал боярин Иван Михайлович Милославский, более молодой, более энергичный, предприимчивый и с еще большей жадностью добивавшийся власти. Он ясно сознавал, что все не так близко к царской семье, как Илья Данилович, и старался держаться в тени, выжидая того времени, когда замутилась вода в московском государстве и можно будет положить в ней для себя всякой жирной рыбки.

Укрепляясь в своем положении, хитрый Иван Милославский оставил в покое недужного царя и ткал свою паутину около юного царевича, стараясь только пока ослаблять влияние Нарышкиных да создавать себе популярность в московском народе и главное — среди его черных сотен, в которых всегда были наиотчаяннее гилевщики, не считавшиеся ни с какой властью.

Этих буянов и Иван Михайлович, и сплотившиеся вокруг него родственники, и вооб-

ще все приспешники и "жильцы", прихлебатели этого рода, старались всеми силами натравливать на новую царскую роденьку — Нарышкиных.

Это натравливание ни для кого в Москве не было секретом.

— О-ох, — говорили на площадях, — умри великий государь, остыть еще не успеет, а литовчане мертвой хваткой возьмут окаянных татарчат!

Род Милославских происходил от литовского выходца Вечеслава Сигизмундовича, прибывшего на Москву в свите Софьи Витовновны, невесты великого князя Василия, впоследствии "Темного" [3]; мелкие же дворяне Нарышкины, как уверяли старинные родословные, происходили от крымского татарина-выходца Нарышки, осевшего в Москве с 1463 года. Оба эти рода за свою чрезмерную алчность в выжимании соков народа были нетерпимы и ненавидимы в Москве. От их первоначальных предков и пошли прозвища их придворных партий: "литовчане" и "татарчата". Однако Милославские все-таки были более любы народу, чем новые живодеры На-

рышкины, и долгое время на старой Москве слово "нарышкинец" было чуть не бранным.

Повинным в такой народной неприязни, скоро перешедшей в ненависть, был Кирилл Полуэктович Нарышкин, отец второй супруги царя Алексея. Он, будучи внове в придворном омуте, интриговал неумело, раздражал дворянских бояр своею заносчивостью, не только держал руку нелюбимого в Москве ярого западника Морозова, но и подражал ему во всем. Его видели открыто курящим трубку, он подстригал себе бороду, осмеливался появляться в немецком короткополом платье. Всем этим пользовались Милославские и распалили чернь, подчеркивая ей эти новшества как измену вековой дедовщине, которой, по всенародному убеждению, была "Москва крепка".

Впрочем, Кирилл Полуэктович мудрил недолго. Новая жизнь, полная всяких неприличных излишеств, быстро сломила его. Он умер, а его сыновья — Иван и Лев Кирилловичи, пожалованные вместе с четырьмя отдаленными родственниками в бояре, ударились в омут интриг, действовали, ничем не стесня-

сь, так что народная ненависть к ним все разрасталась. Только уважение к больному царю удерживало чернь от гили и расправы с Нарышкиными.

А молодые братья царицы будто и не замечали этого. Они упивались своим построенным на песке могуществом, озорничали, безобразничали, пользуясь тем, что не до них было угнетенному недугами царю. А их сестра-царица, любившая их как сверстников своего невеселого детства, покрывала их во всем, и, выходя сухими из воды, Нарышкины тем самым еще более распалили народную ненависть.

Были, конечно, и другие честолюбцы, точно так же мечтавшие о власти, но они были сортом помельче и, кроме одного Матвеева, царского свата, никакого значения не имели. Они все были "поддужными" у набольших. Из них Милославские и Нарышкины вербовали своих сторонников. Да они и не домогались высшей власти, для них было совершенно довольно того, что давала им близость к временщикам. Они могли озорничать, как угодно было их низким душам, насильничать,

грабить в открытую.

Зато и били же их московские черносотенцы, эти постоянные носители народной свободы в тогдашнем московском государстве! "Черные сотни" тогда были своего рода сословием; они состояли из ремесленников, торговцев, вообще из людей личного труда, не связанных с землей. Их развитие было несколько выше, чем развитие землепашцев, прикрепленных к земле. У них было свое управление: они составляли вполне определенную организацию, с должностными выборными лицами, со своего рода "общим собранием", которое и вершило все их общественные дела.

Правительство даже несколько заискивало у черных сотен, и от них были представители на всех земских соборах. Да и немудрено: черные сотни, настроенные всегда протестующе, почти революционно, всегда готовые к бунту и всяческой гили, были силою, с которою нужно было считаться, в особенности потому, что стрельцы, эти в скором времени "преторианцы третьего Рима", были теми же черносотенцами и при частых гиях не раз

принимали сторону последних.

Старые дворцовые интриганы знали это и заискивали у черных сотен, видя в них пособие к выполнению своих замыслов; молодые, напротив того, относились к живой стихийной силе пренебрежительно, ни во что не ставя ее.

И немудрено, что они имели такой взгляд. Ведь для всех этих "новых людей", вынесенных на высоту слепым счастьем и еще недавно пресмыкавшихся в ничтожестве, царь на престоле все еще продолжал казаться земным богом, по слову которого свершается все на земле. Они еще не успели разглядеть в царе человека и верили в царское обаяние. Не замечали они и того, что царю, чтобы управлять хорошо, нужна сила не малая, так как кругом него море, вечно бурлящее и всегда настроенное враждебно против всякой власти. Другими словами, все эти выскочки были наивно уверены в полном могуществе права и были убеждены, что сила всегда смирится пред ним и что существует-то она только для того, чтобы осуществлять веления права.

Старые интриганы, уже достаточно наме-

тавшие, ко всему приглядевшиеся, держались других воззрений и действовали сообразно со своими взглядами, стараясь захватить в свои руки и силу права, и дикую, силу физической мощи.

Среди выскочек, выброшенных на высоту слепым счастьем, особенно выделялся ненавистный народу своими новшествами царский сват — "Сергеич", как его звал Тишайший, или боярин Артамон Сергеевич Матвеев, человек — к несчастью для самого себя — немного опередивший свой век. Это был в полном смысле "западник", но западник разумный. Он брал на Западе лишь то, что считал хорошим, и старался пересаживать на свою родину "заморские обычаи", не ломая, впрочем, дедовщины. Он — да один ли он! — был уже свободен от многих старых предрассудков. Его дом точно так же, как и дом другого западника, еще молодого князя Василия Васильевича Голицына, был устроен на заморский образец. Это были своего рода "салоны" тогдашней Москвы. И к Матвееву, и к Голицыну съезжались москвичи помоложе; они судили да рядили не о том, как бы подковыр-

нуть друга-приятеля, а о том, как живут за рубежом, какой король как там правит. Здесь подготовлялись реформы, которые скоро без всякой ненужной и пагубной ломки внедрились бы в жизнь русского народа. Сюда запросто являлись знатные и незнатные иностранцы. Глава кукуевцев — Патрик Гордон — был здесь своим человеком...

Артамон Сергеевич был большим мастером и по части дворцовых интриг, но вел их не грубо, а "по-европейски" с "подходцами". В глазах старых интриганов Милославских он был опаснейшим для них врагом, но поделаться они ничего не могли: царь был за Матвеева. Царь в одной из вспышек гнева даже за бороду оттаскал Дмитрия Милославского, осмелившегося похаить его "Сергеича". Милославские попритихли, выжидая того времени, когда без промаха можно будет взять мертвой хваткой и ненавистных им Нарышкиных, и худородного Артамона.

А тем временем около Тишайшего совершенно незамеченная никем зарождалась новая дворцовая партия, казалось, и надежды на успех не имевшая; это была партия "бой-

девки", царевны Софьи Алексеевны.

XXXVIII

СЕСТРЫ-БОГАТЫРШИ И БРАТ-МЕЧТАТЕЛЬ

И в кого только уродились у "горазд тихого" царя Алексея Михайловича, в какого предка, близкого или далекого, такие ненаглядные его свет-доченьки? Все как на подбор богатыршами вышли... Трудно было потом, многие годы спустя, справляться с ними даже все гнувшему, все ломавшему младшему их братцу Петру.

Царевны Марфинька да Марьюшка много крови ему попортили, а о той, кто, казалось, всем им на покрывку уродилась — свет-царевне Софьюшке, — и говорить нечего. Ту державный брат-сокрушитель и любил, и ненавидел, и даже в монастыре, за множеством затворов боялся ее...

Богатырь была царевна Софьюшка, всем она удалась: и красотой девичьей, и умом не по-женски мужественным, и энергией несокрушимой. Ничего неизвестно о ее потом-

стве, а что за могучие люди должны были быть ее дети!

В ту пору, пред кончиной отца, царевне Софье Алексеевне было восемнадцать лет — родилась она в 1657 году. Такие годы для девушки того времени были половиной девичьей весны: рано тогда созревали красные девицы, а царевна Софья в свои восемнадцать лет казалась уже совсем взрослою и чуть ли не перестарком. Высока и статна она была — совсем богатырша с виду, вроде Владимировой Настасьи Микулишны, которой и пяти богатырей Красного Солнышка мало было на одну руку. Все в ней складно было: и плечи могучие, и грудь высокая. А ее личико девичье так красиво было, что кто взглядывал на него, долго позабыть не мог. У нее были косы черные, жестковатые, до пят, брови под высоким и широким лбом крупные, соболиные, румянец здоровый, так жизнью и бивший, во всю щеку, крупные, словно постоянно жаждавшие огненных поцелуев, губы. Но самым чудным в царевне были ее глаза с орлиным, пронизывающим взором. Они постоянно горели, лучились, переливались, своими лучами

жгли, как остриями невидимых кинжалов, никогда никого не манили к себе, а властно приказывали. Они не сулили счастья, а говорили о муке среди блаженства, и вряд ли среди дворцовой молодежи много было таких добрых молодцев, которые не были бы готовы безропотно умереть за одну мимолетную улыбку красавицы-богатырши.

Слабые, хилые сыновья Тишайшего — царевичи Федор и Иван, в особенности последний, и в сравнение не могли идти с этой величественной богатыршей, не признававшей над собою ничьей воли, не подчинявшейся ничьему влиянию, стремившейся гнуть все и всех.

К отцу она только снисходила, мачеху терпеть не могла, а по ней не могла терпеть и даже ненавидела всю ее чрез меру зарвавшуюся родню. К своим родственникам по матери — Милославским — царевна Софья относилась свысока и так покрикивала на них, что те ее как огня боялись. С сестрами, в особенности с такими же, как и она, почти богатыршами, Марфой и Марьей, Софья была дружна, а на младшего брата, "нарышкинца Петрушку",

она и глядеть не хотела, но только за то, что он был ненавистный ей "нарышкинец". Тут в этой царевне-богатырше уже сказывалась женщина: не будь Петр сыном Нарышкиной, Софья боготворила бы его, как боготворила память брата Алексея, характером и внешнестью весьма походившего на Петра. Но в то время никакие честолюбивые помыслы еще не будоражили этой юной души: другие бури бушевали в юном сердце, которому настала пора любить.

Царевич Федор Алексеевич, уже объявленный наследником престола, по складу своего характера был вылитый отец. Он был мечтателем, с тихой, кроткой, женственно-нежной душой. Грубые забавы претили ему. Напрасно старались молодые Милославские и их прихлебатели втягивать царевича Федора в безумные попойки — он чувствовал органическое отвращение к вину. Противны были ему и разные травли, которые часто устраивались на дворах важных бояр: он не мог переносить вида льющейся из свежих ран крови, вообще не мог видеть никакого страдания, а тем более, когда оно являлось потехою.

У его государя-батюшки была одна весьма любимая забава: в день Маккавеев, когда церковью совершается освящение вод, купать бояр, опоздавших к началу водосвятного молебна. Для такого купанья даже особый церемониал был выработан, и заранее назначалось, кому сталкивать в воду опоздавшего, кому следить, чтобы тот не утонул, кому принимать из воды. Многие бояре за честь для себя считали посмешить великого государя, барахтаясь в воде. Царевичу же Федору такое зрелище было противно, и он всегда старался отстраниться от него.

Не любил он и охоты соколиной, столь излюбленной его отцом, но зато постоянно тянуло его в сад, в парк, в поле, где он мог быть один, любоваться Божьими цветочками, глядеть в далекие небеса, как бы стараясь отгадать, что там такое кроется. Любил он вдыхать ароматы леса и поля, среди которых, обвеянный ими, он мог размышлять, зачем это так устроено на Божьем свете, что есть цари-государя, которым ничего нельзя, и есть жалкие смерды, которым все можно. Это, пожалуй, были любимые думы юного царевича.

Женщины никогда не являлись предметом мечтаний царевича. Как ни старались окружавшие его придворные развратники просветить Федора Алексеевича относительно всяческой грязи жизни, и сам он, и его мечты оставались целомудренными. Может быть, это было потому, что Федор видел около себя лишь сестер, которые для братьев — не женщины, а товарищи, мать да мачеху, потом разных мамушек, да таких женщин, на которых он с детства привык смотреть, как на близких себе, которых он и сам ни в чем не стеснялся и которые сами его не стеснялись...

Правда, иногда он подумывал о необходимости для себя жениться, но и в этих думах о браке чувственность отсутствовала. Федор смотрел на брак, как на обязанность, и в будущей жене видел более доброго товарища, чем необходимую подругу милых бессонных ночей.

В этом отношении царевич Федор, более взрослый, уступал даже своему меньшему брату. В том говорили одни только инстинкты и, как всегда бывает у подобных субъектов, чувственность у царевича Ивана была не

по возрасту повышена.

О предстоящей ему обязанности царствовать Федор Алексеевич думал с большим страхом и сокрушением. Как бы он был счастлив, если бы миновала его "чаша сия"! Ушел бы он в святую обитель и жил бы там на полной волюшке, сам ни в ком не нуждаясь и сам никому не нужный. И зачем это взял Господь братца Алешеньку? Уж тот не помышлял бы о монастыре. Как жаль, что братец Петрушенька столь молоденец! Не дожидаться, пока он подрастет. А то, если бы Петр в поре оказался, сдал бы ему он, Федор, все царство! На что ему оно? На что ему призрачная власть необъятная, когда он по своей воле без боярской указки и шагу ступить не может? Вот и отец хотел бы, чтобы Петруша, братец-последышек, царем был. И справедливо желание государя отца! Какой он, Федор, царь, когда далеки от царской чреды его помыслы!

"А скоро, скоро батюшка-государь преставится, — размышлял Федор, — со дня на день ждать нужно, и тогда волей-неволей нужно будет бразды правления принять... Эх, по-

жить бы ему, голубю, может быть, меня Господь раньше прибрал бы, тогда, минуя братца Иванушку, и приказал бы государь-батюшка царствовать брату Петру; правда, молод он еще, ну, да пока в годы не войдет, за него верные люди поправить могут".

Такие мысли все чаще и чаще посещали голову наследника Тишайшего.

Однажды совсем нечаянно пришлось ему слышать потайной разговор своего отца с Артамоном Матвеевым. Утомленный недугом царь лежал на своей высокой пуховой постели. Матвеев сидел около него на невысоком ставце (табурете), так что его голова приходилась вровень с головой больного царя. Они беседовали, и ни тот, ни другой не слышали, как вошел в покой царевич Федор. По своей скромности юный наследник остановился поодаль, не желая тревожить беседу и ожидая, чтобы государь первым сам заметил его. Так ему и пришлось слышать конец наставлений отца.

— Так слышишь, Сергеич, — произнес слабым, прерывистым голосом Тишайший, — исполни, как говорю. Умру — попробуй так по-

вернуть, чтобы Петруше царем быть; ежели сумом это сделать, так возможно... Пойми, что не в нарушение Божеского и дедовского закона о царском наследии приказываю тебе так, а потому, что и за сыночка Федю, и за все царство московское боюсь. Очень большую силу мои грызуны-бояре взяли, Феденька не по ним царь. Им нужно, ежели не такого, как я, то такого, чтобы бил их нещадно и непрерывно, а Федя этого не может... Не то он у меня монах, не то красная девица...

Даже не дослушав конца беседы, поспешил уйти царевич Федор. Не было у него на сердце ни горечи, ни обиды, а радость была великая. Мягкое сердце в слабой груди так и прыгало: авось так выйдет, как государь-батюшка желает.

Подстерег царевич Матвеева, когда тот из царской опочивальни выходил, и, остановив его, робко заговорил:

— Ты, Сергеич, того... сделай, как батюшка-государь приказывал тебе.

— О чем ты, государь? — удивился Артамон Сергеевич. — О каком государевом приказе намекать мне и зволишь?

— Да вот, слышал я, насчет царства батюшка велел... Братцу Петруше, а не мне его отказывает.

— Ты слышал, государь-царевич? — вскрикнул пораженный боярин.

— Слышал, говорю... Да ты не бойся, Сергеевич, я никому не скажу... А насчет царства, пусть лучше Петрушенька будет; мне не надо, я не хочу. Какой я царь? Мне бы в обитель, Богу за вас молиться...

Смотрел поседевший в интригах боярин на смущенного наследника престола, и невольные слезы проступили на его глаза, невольная дума бередила его мозг:

"Святая, чистая душа!"

XXXIX

СЛУГА ДУШИ И ТЕЛА

Но и этого милого, кроткого, застенчивого юношу однажды опалило дыхание страсти, правда, не своей, а чужой, а все-таки и он тогда понял, что есть на белом свете сила могучая, которая управляет жизнью человеческой более, чем холодный разум, чем сознание долга.

Это было в то лето, которое стало последним для Тишайшего царя Алексея Михайловича.

Около постели больного вдруг появился новый человек, немало пугавший всех семейных угасавшего царя своею замкнутой серьезностью, своим несколько мрачным видом, а главное своей черной фигурой.

Он появлялся в царских покоях всегда внезапно, и царевич Федор знал, что его приводят к больному украдкой, через потайные двери перехода. Иначе было невозможно.

Этим мрачным человеком был иезуит Кунцевич, и в Москве поднялась бы гиль, если бы

там узнали, что у православного царя-государя бывает "пан-крыжак".

Отец Кунцевич попал к больному царю через придворного пииту, наставника царских детей, разудалого монаха Симеона, по прозванию Полоцкого. Тот наговорил про него много всего хорошего. Выходило так, что отец Кунцевич хоть покойника оживить бы смог, такой де он дельный лекарь.

О таком премудром лекаре доложили царю, и тот пожелал видеть его.

Когда царевич Федор впервые увидел отца Кунцевича, он вдруг не на шутку испугался — так его поразила серьезная мрачность этого человека. Отец Кунцевич в первый раз осматривал царя в присутствии наследника престола. Тут же был и Артамон Матвеев, единственный, на чью скромность в этом случае можно было положиться. Матвеев внимательно следил за новым врачом, и отец Кунцевич произвел на него хорошее впечатление.

— Знает дело лекарь-то! — шепнул он царевичу. — И слушает, и мнет, как положено, и постукивает... Я их, лекарей-то, перевидал на

своём веку. Все их ухватки знаю.

Царевич Федор тоже не спускал взора с нового лекаря. Его приемы были совсем не те, которыми обыкновенно сопровождали свои осмотры и придворные лекари-немцы. Отец Кунцевич не шарлатанил, а действовал с простотою, но уверенно, и это производило впечатление на больного, для которого лекарские осмотры обыкновенно бывали сплошною мукою.

Покончив с осмотром, отец Кунцевич весьма почтительно, но без тени холопского подбострастия стал откланиваться.

— Я ничего сейчас не могу сказать о болезни его царского величества, — сказал он, — мне нужно все сообразить, и только тогда я могу сказать свои предположения.

— Так, так! — добродушно одобрил его Тишайший, — торопиться нечего. Чай, не сейчас помру.

— Совершенно верно, — спокойно ответил иезуит, — каждый человек в воле Господа, смерть всегда у нас за плечами, но я не думаю, чтобы роковой конец наступил раньше середины зимы. Я могу высказать это как

предположение, а для более определенного сейчас у меня нет никаких данных...

— Спасибо за правду! — растроганно проговорил Тишайший, — вот если бы всегда мне так говорили, так, может быть, меньше я и обеспокоен был бы. А то врут все! Говорят, что еще многие лета я жить буду, а сами знают, что меня смерть за ворот держит.

— Не совсем так, государь, — улыбнулся иезуит. — Но я уже сказал вам, что все в воле Божией! Когда я приду в следующий раз, я с полной откровенностью выскажу вашему величеству свое мнение.

Он почтительно поклонился и пошел к Матвееву, бывшему его проводником по дворцовым тайникам. Проходя мимо грустно глядевшего на него царевича, иезуит приостановился и тихо, но внушительно сказал:

— Вашему высочеству тоже весьма необходимо лечиться, — после чего, сделав новый поклон, вышел вслед за Матвеевым из покоя.

— Ну что, как государь? — спросил его тот, когда они были довольно далеко от царской опочивальни. — Плох?

— Да, — ответил иезуит, — он проживет

недолго...

— Сколько? — воскликнул испуганный Артамон Сергеевич. — С год или более?..

— Нет, вряд ли его и на полгода хватит... Весь его нестойкий по природе организм уже расшатан и подточен недугом.

— Что же теперь делать? — совсем уже растерялся Матвеев.

— Лечить, и очень серьезно, его наследника, — ответил иезуит, — царевич тоже недолговечен, но лечением можно продлить его жизнь. Если бы мне предложено было, — словно вскользь заметил он, — я взялся бы за лечение его высочества.

— Да как же это сделать? — с сердцем ответил ему Артамон Сергеевич. — Ведь буря поднимется, ежели только узнают, что ты, крыжак, его лечишь.

— Что же? Ради покоя я мог бы лечить его тайно. Разве не может царевич бывать у своего учителя Симеона? Там мы и могли бы встречаться. Никто об этом ничего не узнал бы, а, может быть, мне удалось бы несколько укрепить силы этого бедного царственного юноши!

Пока отец Кунцевич говорил, Матвеев смотрел на него, не спуская взора. Как-никак, а это доброжелательство поляка до некоторой степени будило в Артамоне Сергеевиче подозрительность. Ведь отец Кунцевич был сыном страны, издавна враждовавшей с Москвой; короли этой страны считали Москву своим достоянием, и вдруг такая заботливость со стороны поляка о московском престолонаследнике!

Иезуит, должно быть, понял, какие мысли бродят в голове этого близкого царю человека, и с улыбкой произнес:

— Не думает ли боярин о том, с чего это я принял на себя заботы о его государях? Так мой ответ на это был бы весьма прост. Я — скромный служитель алтаря и ни в какую политику земных властителей не вмешиваюсь. Я — Божий, а не земной... Для меня все люди на земле — дети одного Отца — Творца неба и земли, а потому я, видя, что молодое существо хиреет, и спешу на помощь к нему с теми познаниями, которыми умудрил меня всемогущий Господь!

Матвеев внимательно слушал эту речь

иезуита, но вряд ли верил хотя бы одному его слову.

"Да, да, — думал он, — знаем мы, что ты за птица!.. И твоих песен хорошо наслышаны. Слыхали таких-то! Черные вы вороны. Турнуть бы тебя следовало, да вот лекарь ты и в самом деле знающий. Свет-государя тебе не поднять — не Бог ты, а Феденьку полечи, за чем ему пропадать. Пусть поживет во славу Божию! Пока я тут поблизости, и не такие, как ты, козлы не страшны, а умру я — так уж Божья воля будет".

Заметив, что отец Кунцевич вопросительно смотрит, Артамон Сергеевич круто оборвал свои мысли и сказал:

— Что же, если умудрил тебя Господь, то и нам от твоей помощи нечего отказываться. Сделаешь доброе дело — без награды ни на небеси, ни на земли не останешься... А насчет мниха-пииты ты хорошо придумал. Ходить ты будешь будто к нему, туда же я и царевича приведу.

Знаменитый дворцовый пиита, поэт-лауреат того времени, черноризец Симеон Полоцкий жил в одном из дворцовых флигелей.

На смиренного инока он был похож разве только по платью. Это был веселый, жизнерадостный старик, всегда готовый и гульнуть с добрыми приятелями, и попить "до положения риз" зелена вина, и попеть под гусли или бандуру не одни только церковные песнопения, а подчас, когда не было в кружке лишних глаз, готовый, подобрав полы рясы, пуститься в отчаянный пляс, заставляя дрожать слюду в окнах от раскатов здорового бурсацкого хохота.

Симеон был украинец, киевский бурсак; в молодости он толкался среди польской знати и по духу скорее был католическим, чем православным монахом. Свое крестовое имя он давно позабыл, а может быть, и никогда не помнил; рясою он отнюдь не тяготился и духовного начальства никакого не признавал. Даже грозный патриарх Никон отнюдь не пугал его. Хорошим в нем было то, что он не впутывался в дворцовые интриги и одинаково был дружен с представителями всех постоянно враждовавших между собою дворцовых партий. У этого-то "светского монаха" и стали происходить встречи царевича Федора с иезу-

итом Кунцевичем.

Последний был всегда вкрадчиво почтителен с наследником престола. Рассуждал он с ним всегда серьезно и притом всегда о таких предметах, которые были более всего по сердцу юному царевичу. Многое, что говорил отец Кунцевич, было откровением свыше для царевича Федора. Он жадно слушал иезуита и скоро, сам того не замечая, подпал под его влияние.

Однажды, как-то придя к своему старому учителю Симеону, царевич Федор не застал ни его, ни лекаря. Вместо них в просторной, совсем уж не монастырской келье старого сочинителя "Вертограда" был высокий, красивый, с мрачным, несколько злым лицом молодой человек. Это был князь Василий Лукич Агадар-Ковранский.

Царевич и ранее того видел его несколько раз с отцом Кунцевичем. Он даже знал, что последний с большими усилиями выходил князя от тяжелого недуга. Теперь царевич даже был рад, что этот молодой человек очутился от него так близко и притом с глазу на глаз с ним.

— Князь Василий, а князь Василий, Васенька, — позвал он Агадар-Ковранского, когда тот, низко поклонившись, заспешил к выходным дверям, — да куда ты все торопишься? Посидел бы ты со мной малость, поговорили бы мы... Чай, не страшный я...

Царевич даже улыбнулся, произнеся эти слова. Он рад был разговору со свежим человеком, притом ближе подходившим к нему по возрасту, чем другие, окружавшие его во дворце люди.

Князь Василий, услышав это приглашение, низко поклонился и сказал:

— Чтой-то, царевич, несуразное ты сказал. Ты ли страшен! Да ты все равно, что ангел небесный!

— Оставь, — махнул рукою Федор, — надоели мне хвалы.

— Да я и не хвалю тебя, а говорю, что думую. Прости, ежели что не по сердцу сказал! Приказывай, какую тебе службу сослужить...

— И ничего я приказывать не буду, а прошу. Вот садись-ка ты против меня на лавку, побеседуем. О себе мне расскажи! Ты ведь на воле живешь, всякое выдаешь, а я здесь — все

равно, что Божья птичка в клетке. Садись!
Князь Василий присел.

XL

ВОРВАВШАЯСЯ ЖИЗНЬ

Несколько времени они молчали, смущенно переглядываясь друг с другом. Агадар-Ковранский, несмотря на всю дикость своей натуры, просто ополоумел от мысли, что сидит, как равный с равным, с наследником московского престола. В первый раз он так близко видел царевича Федора и никогда не воображал, чтобы будущий царь мог быть таким вот, как этот болезненный, с тонкими, женственными чертами лица юноша, столь кротко, без тени какого бы то ни было презрения смотревший на него. Эта нежная красота и кротость никак не вязались с представлениями князя Василия о царе-государе, который, по его мнению, должен был быть и ростом велик, и голосом груб, и на речи дерзок, дабы было в том хотя какое-нибудь отличие между ним и его червяками-подвластными.

Федор же, напротив того, смотрел на князя

Василия с великим любопытством. Ведь он крайне мало видал людей, и ему казалось, что все те люди, которые находились вне стен дворца и кремля, — совсем другие люди, особливые от тех, которых он видит постоянно вокруг себя. Поэтому-то новый человек возбуждал в нем жгучее любопытство.

Так смущенно, не зная, о чем заговорить, молчали они несколько времени.

— Ну, что ж ты ничего не говоришь, милый? — ласково спросил Федор. — Ты не бойся, скажи что-нибудь!.. Как вы там живете, про веселости ваши расскажи... Я ведь здесь в четырех стенах-то постоянно сидючи, как есть ничего не знаю! — и он даже засмеялся, вспомнив, как часто он воображал себя птичкою малой, запертой в раззолоченную клетку.

Этот смех рассеял смущение князя Агадар-Ковранского. Он опомнился и быстро сообразил, что наступает тот момент, о котором до этого часто-часто шли у них разговоры с иезуитом Кунцевичем. Для него не было сомнения, что эта неожиданная встреча с наследником престола устроена его черным

другом. Отец Кунцевич часто брал его, князя Василия, с собой, когда отправлялся к Симеону Полоцкому на потайные свидания со своим пациентом-царевичем. Но, должно быть, все не выпадало ему свести молодых людей так, чтобы они могли очутиться с глазу на глаз и поговорить о разных разностях, позабыв о различии своего положения. Едва только вспомнил обо всем этом князь Василий, как к нему опять возвратилась его обычная дерзость.

— Эх, государь ты наш, свет-царевич! — воскликнул он со своей обычной пылкостью. — Тоже нашел кого о веселостях расспрашивать!.. Веселости! Тоска-злодейка так вот и гложет сердце молодецкое, горе неизбежное давит, а ты — веселости.

— Ну расскажи о своем горе! Нам, царям, и ваше горе точно так же, как и веселости, неизвестно. Послушаю я, какое на земле горе бывает; такое ли оно, как царское.

— Да нешто вы-то, цари, тоже его знаете? — спросил князь Василий. — Вот уж чему я не поверил бы! У царей да горе!..

— А то нет, что ли? — потупился царе-

вич. — Вон батюшка мой помирает; нешто это — не горе. Нарышкины с Милославскими грызутся — опять-таки горе. Мачеха и не глядит на нас, пасынков и падчериц. За братцем Иванушкой не доглядели — и он чуть у печки не сжегся. Боярину Матвееву комедийное действо поставить как следует не удастся. Слышь ты, лицедеи его хмельной браги много выпили, и двух архангелов батогами отодрать пришлось. Все это печалит, покою лишает... Разве это — не горе?

Князь Василий ничего не ответил. Он вряд ли даже слушал царевича, обдумывая в это время свой ответ.

— Ну вот видишь, — уже настойчиво продолжал говорить Федор, — я тебе все по душе сказал, так и ты не таись. Скажи, какое у тебя горе. Ты не бойся, я никому не скажу, а ежели что смогу, так и посодействую, шепну кому-нибудь там. Может быть, и удастся твое горе в радость обратить.

— Эх, коли так, не буду молчать! — воскликнул Агадар-Ковранский. — Видно, Бог меня вспомнил и с тобою, царевич, свел. Ну, коли так, слушай! Скажи мне откровенно: ты

любил кого-нибудь? Или еще не пришла твоя пора, молчит твое сердце?

Федор удивленно посмотрел на собеседника.

— А как же не любить-то? — сказал он. — Вот ты какой чудной! О чем спрашиваешь!.. Да разве есть на белом свете Божиим человек, который любви не знал бы? Мы, цари, хотя и помазанники Божии, а все-таки человеки, и, как говорит учитель наш, инок Симеон, и нам ничто человеческое не чуждо.

— Ну так ты, стало быть, знаешь, о чем будет речь моя, — проговорил князь Василий. — Коли ты любил уже, так и горе мое поймешь.

— Да-да, — радостно закивал головою царевич. — Пойму, непременно пойму. Говори только, да поподробнее говори!

— Ну, слушай, царевич! Нет больнее недуга, как любовь. Недавно меня медведь чуть было не заломал, потом такая лихоманка с горячкой привязалась, что я Бог весть сколько недель меж жизнью и смертью валялся. Спасибо вон тому лекарю, к которому и ты ходишь; только он меня и выправил, а кабы не он — лежать бы мне под курганом с крестом.

Только не на радость мне была поправка. Как выправился я, так и почувал, что новый недуг мною владеет, и куда он горше, чем тот, который меня в могилу тянул. Эх, царевич, царевич!.. Коли ты тем недугом уже болел, так знаешь сам, что недужному-то и Божий свет не мил, а солнышко на небе не светит, а темь гонит, и лакомый хлеба кусок в глотку не идет, и не любо ничто, что недавно еще так мило было, — ни утехи лихие молодецкие, охота псовая или соколиная, ни пиры-попойки веселые, ни песни в душу льющиеся, ничего, ничего!.. Ходишь, как в воду опущенный, тоскуешь, как зверь лесной, насмерть раненный!.. Все не мило, все противно, ни на что бы не глядел. Томишься, терзаешься, места себе не находишь, на каждого человека, как на врага себе, глядишь... Куда ни кинешься — вместо отрады да покоя муку себе находишь. А душа-то так и мятется, так и рвется; все так тебя и тянет куда-то, а куда — и сам не знаешь... Вот она, любовь-то, свет-царевич наш, надежда милостивая!

Все это было произнесено Агадар-Ковранским быстро, с большим повышением голоса;

видно было, что порыв охватил его и что он не столько говорит со своим царственным собеседником, сколько самому себе высказывает мучившие его сокровенные думы. Он даже не видел, как раза два в приотворенную дверь выглядывала голова иезуита Кунцевича. Хитрый интриган, устроивший это свидание, не пропустил ни одного слова в разговоре молодых людей.

Федор внимательно слушал все то, что говорил Агадар-Ковранский. Порыв, овладевший буйным князем, захватывал собою и нежную душу юного царевича.

ХЛІ

ИСТОМНАЯ НОЧЬ

Царевич открыл окно, и ему прямо в лицо пахнуло ароматами благоуханной ночи. Было уже темновато, чувствовалось близкое наступление осени, но было тепло и тихо. Тишина подействовала умиротворяюще на разволновавшегося царевича. Он стоял, облокотившись на подоконник, и жадно вдыхал лившиеся к нему ароматы. Мысли о всеисцеляющей смерти сами собою отошли от него; около него вились роем думы о жизни. И вдруг царевичу стало грустно именно от этих дум.

И все-то эти "земные мысли" вращались около одного и того же центра — любви. О чем бы ни начинал думать Федор Алексеевич, его думы неудержимо неслись к этому центру. И вовсе не теплая благоухающая ночь была в том причиною. Видно, и прочные стены великолепных дворцов земных владык не уберегают от натисков жизни, от вторжения в их душные покои великих сил природы;

видно, и жалкому, тщедушному, болезненно-му царскому сыну приспело время любить... любить и страдать.

"Если люди страдают из-за этой любви, — размышлял царевич, — и все-таки страдая, любят, значит, любовные страдания — счастье. Иначе и думать нельзя. Хотелось бы и мне узнать, что такое любовь, отчего непременно нужно страдать и терзаться тому, кто любит".

Едва подумав так, юный царевич почувствовал, что краснеет. Ему даже стало совестно самого себя: еще никогда у него не было таких дум, и вдруг явились они незваные, непрошенные, уже и теперь не в меру мучительные.

Большим усилием воли царевич прервал свои думы. В своей девственно-наивной простоте он считал их греховными, "от прелести дьявола", и уже хотел наложить на себя строгую епитимию за то, что дозволил им на миг овладеть собою, когда заметил какую-то смутную тень, промелькнувшую мимо него под деревьями любимого сада.

"Кто это? — промелькнула у него тревож-

ная мысль. — Уж не тать ли какой ночной?"

Однако тревога, охватившая царевича, быстро прошла и он даже весело засмеялся.

— Знаю, знаю я, что это такое! — тихо промолвил он самому себе. — Ох, воистину были у меня мысли от дьявола. Только что не хотел ничего думать, только что с самим собою справился, а он, окаянный, вот так и надзуживает, так в искушения и вводит. Ахти мне, грешному! Пойти скорее в опочиваленку да на молитву стать.

Но напрасно! Царевич в этот момент был и с самим собою неискренен. Он знал, что не пойдет в свою опочиваленку, не опустится на колена пред святыми иконами, а если и заставит себя сделать это, то не чиста, греховна будет его молитва, далеко-далеко унесутся его помыслы от всего святого, что, стоя пред святой иконой, он будет думать только о грешном земном.

Все вспоминался ему разговор с князем Василием, и слова этого бешеного человека о любви так и жгли его душу. Странными показались тогда эти слова царевичу.

— Не понимаю я, о чем говоришь ты, —

раздумчиво сказал он. — Больно уж чудны твои слова для меня. Видно у нас, царей, совсем не такая любовь, как у вас, подвластных. Я вон очень люблю сестрицу Софьюшку, хотя она, когда мы были маленькими, пребольно колачивала меня, да и теперь не спускает. Вот тут намедни рассердилась и венецейским блюдечком, что батюшке из-за рубежа посольство привезло, в меня пустила. Раскололось блюдечко-то на кусочки. Я только взыскивать на ней обиду не стал. Что поделать? Старшая сестра! А только, как я ее ни люблю, никакой я муки от того не испытываю.

— Не про ту любовь, царевич, говоришь! — горько усмехнулся князь Василий. — Не сердчай на меня, ежели я скажу тебе, что такая любовь для малых детей, а не для взрослых. Есть другая любовь — любовь доброго молодца к красной девице. Вот в этой-то любви и мука. Свободного — она тебя рабом делает!.. Говорят, есть в турецких землях рабы, которые, хоть и люди, а для своих господ хуже подъяремного скота. У нас, на святой Руси, слава Богу, нет таких, да и у турок, прокля-

тых, такими рабами только чужеверные бывают. Так вот, кто любит, тот у своей возлюбленной таким рабом и существует. Что хочет, она с ним сделает. Какие хочешь, веревки сошьет, а на все любящий человек пойдет. Вот Господь Бог, уж и не знаю за какие грехи, попустил мне таким недугом заболеть. Полюбил я тут девицу одну, отдал ей свое сердце, свою душу, все свои помыслы...

— Так что же, женился бы на ней, — перебил его царевич. — Хочешь, я твоим сватом буду?

Царевичу припомнилось, что он не успел ни договорить сам, ни услышать ответа.

Князь Василий не успел ответить. Внезапно из-за двери выдвинулся отец Кунцевич.

— А, ваше высочество, — воскликнул он, притворяясь, будто и не знал о посещении царевича. — Не заставил ли я вас ждать?

Отец Кунцевич проговорил все это с заискивающей улыбкой.

Появление его было настолько неожиданно, что оба молодых собеседника невольно вздрогнули.

"Подслушивал он, или нет? — спросил сам

себя Агадар-Ковранский. — Вот человек: нельзя никогда понять, что он думает, и его дьявольских подходов никак не угадаешь!"

Князь Василий, хотя еще весьма и смутно, но все-таки начинал понимать загадочную натуру иезуита. С того самого дня, когда он, придавленный своей неудачею в Чернавске, примчался к отцу Кунцевичу в попутный поселок делиться своим горем, он и отец Кунцевич были неразлучны.

Не возвращаясь домой, в свою лесную трущобу, князь Василий отправился в Москву вслед за своим таинственным другом. В Москве у него был свой дом, обыкновенно пустовавший; в нем они и поселились. Отец Кунцевич оказался великим домоседом; он редко выходил из своего добровольного затвора.

Да ему и не нужно было где-нибудь появляться на Москве: за него действовал искусно направляемый князь Агадар-Ковранский. Именно он разнес среди своей влиятельной родни, а через нее и по всей Москве его славу, как искусного лекаря, он же устроил отцу Кунцевичу и знакомство с Симеоном Полоц-

ким, благодаря которому иезуит пробрался и в царские покои.

Но отец Кунцевич сделал ошибку. Если бы он не остался с князем Агадар-Ковранским, не поселился с ним под одной кровлею, где тот мог видеть его постоянно, он так и был бы для князя постоянной загадкой, действовал бы на его воображение. А тут слишком тесная близость показала князю Василию отца Кунцевича в несколько ином виде.

Как ни был духовно могуч иезуит, но он все-таки был человеком, и случались моменты, когда с него сама собой спадала надетая им на себя личина. Вследствие этого и Агадар-Ковранский, от природы наблюдательный, уразумел, что его "черный благожелатель" — далеко не то, чем он стремится казаться. Попросту говоря, под овечьей шкурою всякой елейности и доброжелательства князь Василий сумел разглядеть и волчьи когти и клыки иезуита. Но было уже поздно разрывать сам собою создавшийся союз, тем более что страсть в сердце князя Василия с течением времени не утихала, а все более и более распалялась. Отец Кунцевич же все время

держал себя так, что только с ним одним Агадар-Ковранский мог делиться своими сокровенными думами и затаенными надеждами.

Сколько князь ни рыскал по Москве, он и следов не находил боярина Грушецкого, а тем более Ганночки, словно в воду канули со всеми своими чадами и отец и дочь.

Князь Василий страдал от неудовлетворенной страсти, и только могучая воля отца Кунцевича сдерживала то и дело обращавшиеся в бурю порывы молодого дикаря. Агадар-Ковранский терял голову; он жил только одними надеждами, и как ни устал он ждать, но именно эти надежды еще устраняли от него отчаяние.

Теперь встреча с царевичем, которого князь считал всесильным, снова окрылила его, и ему было даже неприятно думать, что иезуит подслушивал их беседу, а более всего неприятно было то, что появление отца Кунцевича прервало их разговор как раз тогда, когда он, князь, только что хотел открыть своему царственному собеседнику имя своей возлюбленной.

Отец Кунцевич даже и внимания не обра-

тил на неприязненные взгляды, которые бросал на него князь Василий. Он, кланяясь, подошел к царевичу и стал против него, ожидая, что тот скажет.

— Еще раз низжайше прошу прощения вашего высочества, — повторил он свои извинения, — я бы на крыльях прилетел, если бы только мог знать, что вы пожалуете сегодня в эту скромную келью вашего наставника. Но и он сам не был осведомлен об этом...

— Да, да! — воскликнул Федор Алексеевич, оправляясь от некоторого смущения. — Тут я во всем виноват один. Мы уговорились встретиться на завтра, а завтра я иду за крестным ходом вместо батюшки и, быть может, не приду сюда. Поэтому-то я здесь теперь.

— И тем лучше, ваше высочество! — ответил отец Кунцевич. — Я тогда сегодня займусь вами подольше. Меня очень беспокоят хрипы в ваших легких, и я хочу во что бы то ни стало найти причину их происхождения. О, ваше высочество! Опыт научил меня, что при всяком недуге — и телесном, и душевном — всегда нужно искать его причину, и, найдя причину, нужно стараться удалить ее:

средства подыскать легко, а с последствиями также легко справиться. Прошу вас снять ваш кафтан...

Он сделал знак Агадар-Ковранскому оставить их одних. Тот низко-низко поклонился царевичу.

— Ну, прощай, князь Василий, — ласково сказал Федор Алексеевич, — я рад, что встретился и побеседовал с тобою. Когда мы встретимся еще, ты доскажешь мне про свой недуг все до конца.

Князь Василий с низкими поклонами вышел из покоя.

— Что, ваше высочество, — спросил отец Кунцевич, пока юный царевич снимал верхнее платье, — этот бедняга, кажется, и вам надоедал с тайнами своей неудачной любви?

— Да, он говорил со мною откровенно. Мне очень жалко его и хотелось бы помочь ему, но я не знаю как...

— Вы очень добры, ваше высочество, — ответил, приступая к выслушиванию, иезуит, — но в своих сердечных недугах более всех виноват сам этот молодой человек. Но прошу вас, вздохните поглубже...

Долго и тщательно осматривал иезуит-доктор своего царственного пациента.

— Итак, ваше высочество, вы завтра шествуете за крестным ходом? Осмелюсь спросить — где? — спросил он.

Федор Алексеевич назвал храм, откуда должен был выйти крестный ход, и тот храм, куда он направлялся.

— Да, да, я знаю эти места, — проговорил иезуит, — они находятся под действием сырых ветров, иногда тут встречающихся и производящих как бы воздуховорот. Вам, ваше высочество, следует одеться как можно теплее; вы все время будете как бы на сквозняке. Весьма покорно просил бы вас именно завтра уделить мне немного времени и пожаловать сюда. Я снова осмотрю вас, чтобы определить, какое влияние будет иметь на ваш организм эта жестокая прогулка!

— Я приду, — просто ответил царевич, прощаясь с иезуитом, и даже не заметил, как тот вышел, так как все его мысли были заняты пылким признанием князя Василия о его любви.

"Вот князь Василий Лукич, — вспомнил

он теперь свою беседу с Агадар-Ковранским, — думаю я, жестоко страдает. А зачем? Потому что он любит; стало быть, и любовь — мука. Зачем же тогда люди любят? Ведь это значит, что они сами заведомо для себя идут на муку. Непонятно что-то! Никто себе заведомо пальца не обрежет, а тут такое страдание по охоте принимают. Что же это такое? Нет, уж я лучше никого, кроме родных, любить не буду!"

Увлекаемый своими мыслями, царевич подошел к окну. Там под ним был сад, любимое место его детских игр. Царевич любил этот уголок, так как он напоминал ему золотые дни детства.

В лицо ему пахнула ночь, полная грешных желаний.

Царевич теперь завидовал князю, его молодому пылкому счастью, его смелой и здоровой любви.

Под впечатлением этих дум он шагал по аллейке, пока его не догнала сестра Софья. Она пошла рядом с ним. Несколько времени брат и сестра молчали.

— Ты что ж, Федор, думаешь? — заговори-

да первая Софья. — Поди, батюшке доложишь, что нас застал?

— Да уж и не знаю как, Сонюшка, — позамялся Федор Алексеевич, — и тебя-то мне жаль, и пред батюшкой смолчать нельзя...

— Да что ж я тебе сделала? — спросила царица. — Тебе-то что?

— Как что? — вспыхнул Федор. — Будто уже и не позор для нашего царского рода?.. Царская дочь да с подвластным слюбилась. Вот пару нашла!..

Вся загорелась гневом богатырша-царица.

— Ах, ты, слюнтяй! — громко, не стесняясь закричала она. — Недоносок маменькин! Тоже нашел, чем корить! С подвластным! Да, стало быть, хороша я девка, ежели меня любят! Вот тебя, чахлого разиню, поди, никто не полюбит. Кому такие-то, как ты, нужны? У тебя нешто кровь? Рыбья сыворотка у тебя, а не кровь. Вот женят тебя да жену молодую приведут, так ты, что и делать с ней, знать не будешь, а станешь только охать да вздыхать: тут болит, да там болит... А тоже мужчиной прозываешься! "Я, дескать, по образу и по подобию Божию сделан... не из ребра"... Тьфу! Из

навоза гнилого ты сделан... А тоже корить: царская дочь с подвластным слюбилась. Да ежели бы ты понять мог, что бывает, когда вся кровь в теле ходуном ходит и огнем пылет! Как тогда человек к человеку стремится!.. А у меня крови много, и откуда она у меня такая кипучая, не знаю. Царская дочь! Да что же мне из-за того, что я — царская дочь, и счастья не изведать?.. Нет, братец милый, без счастья вековать, как государыня-тетушка, я не буду!.. Не такая я... Вот люблю Васеньку и никого не боюсь; жилы из меня тяните — не испугаюсь, а ежели его тронут, то такое на творю, что и сами вы все не рады будете: пошлете его в Березов, так я за ним, как собачонка, побегу. Вот тебе и будет царская дочь!.. Смекнул? Иди, слюнтяй паршивый, наушничай родителю. Иди! Чего стал да бельмы выпучил? У-у, недоносок! Глядеть-то на такого противно!

С этими словами юная царевна-богатырша так толкнула в грудь своего тщедушного брата, что тот едва-едва удержался на ногах. После этого она пустилась бегом к крыльцу палат.

— А ты, царевич, — раздался около Федора Алексеевича мужской голос (это неслышно подошел князь Василий Васильевич Голицын), нас не трогал бы с Софьюшкой-то... Мы тебе не мешаем, а любим друг друга, так значит, то Господу Богу угодно... Шел бы теперь почивать. Не царевича дело по ночам любящих ловить...

С трудом добрался до своей опочивальни Федор Алексеевич. Много передумал он в остаток этой ночи и лишь под утро, вспомнив, что ему за крестным ходом нужно идти, забылся тревожным сном.

XLII

В ВИХРЕ ЛЮБВИ

К вечеру после крестного хода, за которым шел царевич, вся Москва Белокаменная была полна толков и нареканий. Эти толки пошли еще накануне, но Москва и в ту пору была столь велика, что понадобилось порядочно времени, чтобы всю ее успела обойти сенсационная весть.

Говорили о совершенно небывалом в Москве происшествии, настолько небывалом при общем затворничестве московских женщин, что, казалось, такого случая и быть бы не могло.

Какая-то боярышня, очень красивая, но не из богатых и в Москве никому неведомая, когда проходил крестный ход, взглянула на юного царевича Федора Алексеевича, громко вскрикнула и упала без чувств. Ее крик услышал царевич, и, нарушая благочиние, — чего также никогда не бывало, — оставил крестный ход и бросился к юной красавице на помощь. Однако он только мельком взглянул на

нее. Началась вполне понятная суматоха. К месту происшествия кинулась толпа; никто ничего не знал толком, но говорили все. Произошла беспорядочная толкотня, едва не помяли неосторожного царевича, и, пока народ толпился, толкался, кричал и суетился, кто-то выхватил и унес бесчувственную девушку.

Когда наступило некоторое успокоение и кое-как был водворен порядок, боярышня как в воду канула. Никто не знал в толпе, чья она, откуда взялась, с чего это ее дурман мог взять. Рассказывали только, что кроткий царевич был весь бледен, как полотно, а потом вдруг стал необычайно гневен, когда ему сказали об исчезновении никому неведомой красавицы.

Однако, кое-как совладав с собою и подавив волнение, царевич занял свое место в крестном ходе и проследовал с ним; но все заметили, что он был необычайно рассеян и даже небрежно относился к церковной службе.

Действительно, еще никогда во всей своей жизни Федор Алексеевич не переживал таких минут, таких острых и непонятных ощущений, какие пришлось ему испытать в эти

немногие часы. Несмотря на то, что был день, а не ночь, прежние "греховные" мысли не оставили его. Напротив того, они еще более будоражили его душу, жгли, как огнем, его мозг.

То, что он подсмотрел, вернее, подслушал в заброшенной беседке сада, волновало его кровь, заставляло сильно биться его сердце. Разговор с могучей сестрой не успокоил, а распалил его еще более. Он понял, убедился, что действительно есть на свете могучая сила, заставляющая людей в бесконечном страдании находить неземное счастье. Это было совершенно новым для него вопросом, полным всевозможных загадок. Он думал об этих загадках во все утро этого дня, думал, шествуя за крестным ходом, думал как раз в то время, когда совсем близко от него неожиданно раздался громкий женский вопль.

Этот вопль был настолько неожиданным, царевич расслышал в нем столько новых для себя, разнообразных звуков, что положительно не отдавая себе отчета в своих поступках, забыв, что происходит вокруг него, кинулся вперед. Там, среди замершей в исступлении

толпы, он увидел мертвенно-бледное, но ангельски-красивое лицо молоденькой девушки, опрокинувшейся на руки заметно перепуганной старушки, голосившей, что было сил в горле, призывая на помощь.

Лицо бесчувственной девушки поразило царевича своей красотой и его черты сильно врезались в память и в сердце. Федору Алексеевичу казалось, будто он видит пред собою сошедшего с неба ангела; он дрожал, как в лихорадке, весь обуреваемый каким-то неизвестным ему, совершенно новым, никогда не изведанным им чувством. Под влиянием — лучше сказать, под внезапным наплывом — этого чувства, у царевича вдруг закружилась голова. Он никого и ничего не видал вокруг, пред его глазами было только одно милое лицо с закрытыми под длинными ресницами глазами.

Когда царевич опомнился, красавица уже исчезла. Он даже не заметил этого и с изумлением глядел на неистово галдевшую толпу, забывшую уже о красавице-девушке и видевшую пред собою, совсем близко, своего любимца, царского сына, будущего "великого го-

сударя великия и малыя Руси".

Опомнившись и видя, что красавицы уже нет, Федор Алексеевич сконфузился. Он заметил, с какой укоризной смотрит на него духовенство. Кто-то из его среды даже осмелился потянуть его за рукав, понуждая скорее занять место. Царевич не обиделся на это. Он стал по-прежнему на свое место, подал знак, и крестный ход при громких песнопениях двинулся вперед. Навстречу ему неся радостный звон церковных колоколов, тихо качались хоругви, певчие покрывали своими голосами гул толпы, но Федор Алексеевич ничего этого не замечал. Он уже не мог молиться; его думы и помыслы были далеки от небесного, земля всецело завладела им.

Словно в лихорадочном жару он вернулся в свои покои. Первым его встретил "сват Сергеич", на правах близкого больному царю человека, постоянно остававшийся во дворце. Когда он взглянул на Федора Алексеевича, то тот прочел в этом взгляде немой укор. Но ему не стало стыдно, как стало бы стыдно прежде. Юноша чувствовал себя совсем другим; в нем словно родился новый человек. Откуда толь-

ко взялись в дряблой душе силы. Федору Алексеевичу теперь ничего не было страшно...

— Чтой-то, царевич, у тебя за крестным ходом-то вышло? — Несколько укоризненно заговорил Артамон Сергеевич Матвеев. — Нешто так возможно царскому сыну? Ведь соблазн-то какой для православного народа!..

Он не договорил. Глаза обыкновенно тихого царевича вдруг блеснули. Словно огонь какой-то загорелся в них. Брови низко-низко нахмурились, холеные руки в кулаки сжались...

— А ты чего, пес смердящий, на господина лаять вздумал? — напрягая голос, закричал царевич. — Или на наших царских конюшнях батожья мало? Ах, ты, негодник старый!.. Государь-родитель болен, так ты, холопская душа, сейчас и волю забирать. Вон пошел, гадина, чтобы духом твоим около меня не пахло!

В сущности говоря, царевич был смешен в своем гневе. Как-то не шла к нему, кроткому, безобидному, эта гневность. Напускная она была, и это сразу было видно, но Матвеев, более изумленный, чем напуганный, растерялся: чего-чего, а этого он ожидать от Федора

Алексеевича не мог.

— Государь-царевич, — дрожащим голо-
сом, страшно бледнея, заговорил он, — верою
и правдою многие годы служил я пресветло-
му родителю твоему и нашему царю-госуда-
рю, но того не слыхивал. Стар я уже. Пусть ве-
ликий государь повелит мне отъехать.

Федор вспыхнул еще больше.

— Вон, — затопал он на старика ногами, —
вон, чтобы и духом твоим не пахло! Вон, с
глаз моих долой!

Матвеев, весь бледный, весь дрожа и тря-
саясь от гнева и чувства обиды, сделал шаг
вперед, в пояс поклонился наследнику и по-
том медленно вышел из покоя, не говоря ни
слова.

Едва только закрылась за стариком дверь,
Федора Алексеевича уже охватила жалость к
нему. Ведь этот важный, степенный старик,
всеми признанный умница-разумник, пре-
даннейший из преданных его отцу, всегда
был ласков с ним, и теперь он, Федя, столько
раз засыпавший на его коленях, у его широ-
кой груди, вдруг так дерзостно обидел его! Не
будучи в состоянии справиться с собою, царе-

вич кинулся к дверям, распахнул их и по-детски жалобно закричал:

— Сват Сергеич, а сват Сергеич!

Отклика не было — вероятно, обиженный Матвеев был уже далеко.

— Что ж это я наделал, что наделал? — хныкал Федор. — И как это я мог так обидеть Сергеича?..

Но порывы быстро сменялись один другим в слабой душе этого царственного юноши. Скоро чувство жалости, точно так же, как и чувство гнева пред тем, потеряло свою остроту, и Федор Алексеевич забылся в думах о другом — о той красавице-девушке, которую он при таких чрезвычайных обстоятельствах увидел в этот день.

"И хоть бы узнать мне, кто она такая! — раздумывал он. — Если приказать боярским детям разведать, так сейчас по всей Москве гомон пойдет. Скажут: вот царевич-наследник для забавы себе честную боярышню облюбовал. Нехорошо это! Да ежели и сыщут ее... любочку мою, — мысленно произнес никогда еще не приходившее ему на ум слово царевич и при этом вдруг покраснел, — так

не скажут, кто она и как ее имечко: Матвеев запретит, он теперь на меня в ярое гневе. А узнать нужно: людишки при царе-государе дотошные, одни дядья Милославские чего стоят — изведут милую... у них и яды всякие, и приспешников куча. Так как же тут быть? Да, что я, забыл! — вдруг встрепенулся царевич. — А князь Василий-то? Он — такой ухарь, что все ему нипочем. И меня-то он, кажись, полюбил. Ой, разве пойти к инокку Симеону в келейку? Сказывал я князю Василию, чтобы он пришел туда для беседы. Ой, пойду! Сергеич, поди, теперь, батюшке на меня жалится, так, пока не призвал родитель к ответу, нужно поскорее это дело справить".

Предвидя неприятные отношения с отцом, царевич засуетился. Он послал сказать, что идет навестить своего учителя, и сам сейчас же двинулся вслед за посланцем. Как раз навсегда было уговорено, веселый монах-поэт спешил пред приходом царевича покинуть свою келью, наскоро приведя в ней все в порядок и довольно неделикатно вытолкав в потайной ход рыжую краснощекую девку, подобранную им где-то в Москве и частенько

появлявшуюся у него на целые ночи для выслушивания смиренных и отеческих наставлений. Он же послал в покой князя Василия, и тот явился к нему, как то было приказано царевичем.

— Слышал поди, княже, что приключилось-то со мной на крестном ходу? — начал свои объяснения Федор Алексеевич. — Вот и прошу я тебя, как собиного друга своего, сделай мне милость...

— Приказывай, государь! — отозвался князь. — В чем твоя воля? А я, холоп твой, не щадя живота своего, все исполню, как сумею...

Федор Алексеевич, краснея, путаясь в словах, разъяснил ему про свой случай, а потом высказал свои соображения относительно того, что может ожидать бедную девушку. Князь Василий сосредоточенно выслушал рассказ царевича, а затем воскликнул:

— Э-эх, сам знаю, как ущемить может душа красная девица сердце доброго молодца! Ладно, царевич, сослужу я тебе службишку. Но и ты меня не забудь: помоги мне раздобыть мою лапушку...

Появление царского стольника оборвало беседу. Царь Алексей Михайлович настоятельно требовал к себе своего наследника-сына.

— Иду, иду, сейчас! — засуетился не на шутку испугавшийся царевич.

По дороге к опочивальне отца, ему преградил дорогу внезапно выступивший словно из-под земли отец Кунцевич.

— Ваше высочество, одно слово, — заговорил чуть не шепотом иезуит. — Запомните: молодая девушка, привлекающая ваше внимание своим обмороком на площади, — дочь Чернявского воеводы Семена Грушецкого. Зовут ее Агафьей. Сообщаю вам это, чтобы вы понапрасну не мучили себя.

XLIII СУЖЕНЫЙ

Имя Ганночки Грушецкой ничего не сказало царевичу: Федор Алексеевич никогда такого имени не слышал и понятия не имел, что за чернавский воевода есть такой на Руси; но опять забилося его сердце. Ранее, чем он мог ожидать, исполнилось его желание: он знал имя поразившей его девушки.

Словно в сон погрузился царевич. Он забыл, что идет к отцу и что там ему придется расплачиваться за невольную гневную вспышку. Сладостные мечты осенили его, и он вдруг с ужасающей ясностью понял, что и он, слабый, тщедушный юноша, любит, любит вот так же, как любит Ваську Голицына его сестра Софья, как любит князь Василий Агадар-Ковранский свою исчезнувшую от него разлапушку.

Даже пред разгневанным отцом юный царевич не расстался со своими думами. Вряд ли он слышал, что говорил ему отец. И гневные, и убеждающие слова пролетали мимо,

скользили только по его возбужденному мозгу, не оставляя в нем по себе следа. Машинально, как заведенный автомат, повинувшись отцовскому велению, подошел царевич к "свату Сергеичу", машинально взял его руку и так же, не думая, что он делает, хотел поцеловать ее, но словно сквозь туман приметил, что Матвеев не допустил его до этого поцелуя.

Артамон Сергеевич, всхлипывая от рыданий, опустился пред юношей на колена и осыпал поцелуями его руки. Хитрый царедворец знал, как должно было ему поступать, чтобы наверняка заслужить расположение царя.

Федор Алексеевич не отнимал своих рук. Ему было все равно — самому ли целовать чьи-либо руки, или принимать чужие поцелуи. Так же безучастно, словно сам не свой, облобызал он руку родителя, в пояс поклонился Матвееву и ушел, причем тотчас же позабыл все, что происходило в опочивальне.

"Агафья, Агаша, Ганночка, — так и вертелось в его голове милое имя. — Чернавский воевода Семен Грушецкий!.. Ну, сыщу теперь, да, сыщу... Узнаю все, увижу ее... Может быть,

и она меня полюбит!.." — думал он.

Старый иезуит был прав. Он с неутомимой энергией держал в своих цепких руках нити своей грандиозной интриги, знал многое, чего не видели другие.

Молодой красавицей, упавшей в обморок, когда мимо нее проходил крестный ход, была действительно Ганночка Грушецкая.

Сильно был перепуган ее отец, Семен Федорович, выходкой Агадар-Ковранского тогда, в Чернавске. Чего-чего, а этого он уж никак не ожидал от князя Василия. Выходка была ни с чем несообразна по своей дикости.

В глубине своей души Семен Федорович в то время был рад примирению с Агадар-Ковранским: ведь князь Василий был завидной партией для его красавицы Агаши; но после того, что выкинул князь в Чернавске, старик оскорбился, сообразил, сколь дик был этот добрый молодец и решил, что "слава Богу, ежели князя Василия прочь отнесло".

По общественному и материальному положению род Грушецких был гораздо ниже рода Агадар-Ковранских, и вот, боясь новых диких выходок со стороны князя Василия, он и

увез от него свою красавицу-дочь.

Однако в Москве Грушецкому совсем не повезло. Не исполнилась ни одна из его "золотых надежд". Он появился в столице как раз в разгар болезни Тишайшего. Совсем не до того было его весьма немногочисленным "богомольцам и радельцам", а потому о представлении государю нечего было и думать. Нужно было беречь свое положение чернавского воеводы. И вот Семен Федорович тихохонько, смирнехонько проживал в Москве, где у него был свой домик.

Он старался быть тише воды, ниже травы, боясь привлечь на себя внимание, особенно после того, как узнал, что в Москве появился и князь Василий, сразу же заявивший о себе несколькими буйными выходками, о которых заговорила вся людная столица.

В это время при Семене Федоровиче была уже его Ганночка.

Страшась, как бы она не встретилась с буйным, диким князем, Грушецкий держал дочь взаперти, чуть не "под затворами". И вот в это время около него появился отец Кунцевич.

Воевода издавна привык к этому черному

воронью католичества. Еще в Москве он пере-
видал его многое множество, да и не совсем
чужими были они ему, потомуку польского
выходца. Их религия была религией его пред-
ков, их идеалы ярко сияли еще прадеду Семе-
на Федоровича; притом же он считал предста-
вителей этого черного народа людьми умны-
ми, всякою премудростью книжною богаты-
ми.

Конечно, отец Кунцевич ничего не сказал
ему о своей близости к князю Василию; он от-
рекомендовался воеводе как лицо, близкое к
польскому магнату Разумянскому. Когда же
Грушецкий узнал, что отец Кунцевич тайно
лечит больного царя, то все в нем так и вско-
лыхнулось, иезуит стал казаться ему драго-
ценностью: ведь через него можно было по-
пасть и в близость к великому царю госуда-
рю!

Отец Кунцевич действовал, преследуя
свою цель. Он, пожалуй еще более ревниво,
чем отец, оберегал Ганночку от встречи с кня-
зем Василием, потому что такая встреча была
вовсе не в его планах, и тщетностью своих по-
исков Агадар-Ковранский был более всего

обязан стараниям своего друга-иезуита.

О, если бы он только мог знать это! Но князь Василий даже не подозревал подобного коварства. Он всецело вверился отцу Кунцевичу и ответил бы смехом тому, кто сказал бы, что его черный друг "дьяволит" против него, князя Василия.

Иезуит быстро и легко сумел втереться в доверие и к Ганночке. Молодая девушка перестала бояться его и теперь уже любила беседовать с ним. Отец Кунцевич знал, чем пленить юное девичье воображение. Он рассказывал Ганночке о великолепии придворной жизни, о блеске, постоянно окружающем королев и цариц. Кое-что знала об этом и сама Ганночка, но теперь рассказы отца Кунцевича воссоздали в ее воображении весь блеск дворцов, всю пышность и могущество царской жизни.

— Хоть один малый денек пожить так-то! — простодушно восклицала молодая девушка.

Отец Кунцевич улыбался и обыкновенно отвечал:

— Все, дитя мое, в наших руках. Господь

дал человеку свободную волю, а Сын Божий сказал: "Просите и дастся вам!".

Он незаметно для Ганночки вселял в ее душу убеждение в том, будто она рождена быть царицей, и с легкомыслием юности молодая девушка уверила самое себя в этом. Нередко она даже сама себя видела на троне, но — увы! — ей рисовались польский, французский троны, а никак не свой, московский.

Но и это явилось в результате бесед с иезуитом.

"Уж если бы я только стала на Москве царицею, — не раз думала девушка, — завела бы я свои порядки... Не хуже бы французской королевы сумела бы показать себя!.. Да не бывать мне на престоле, — вздыхала она, — где уж!"

Она вздыхала, горевала и все чаще и чаще ей вспоминался сон-гаданье в погребе-подземелье Агадар-Ковранского в ту смутную ночь, которую она провела в его прилесном доме.

Зюлейки уже не было с ней. Молодая персиянка сперва затосковала в скуке московской замкнутой жизни, а потом ушла. Дикий зверек не перенес московской лютой неволи.

Она никому не сказала, куда уходит, и даже не попрощалась ни с Ганночкой, ни со стариком Грушецким, всегда относившимся к ней ласково. Много спустя Ганночке сказали, что Зюлейка живет на польском подворье и не нахвалится своею жизнью. Об этом узнал и Семен Федорович и строго приказал дочери даже никогда не вспоминать о своей подруге. Ганночка подчинилась отцовскому приказанию, но жить ей стало так скучно и тоскливо, что, просыпаясь утром, она не знала, как ей дожидаться темноты, чтобы во сне забыть свои тоску и скуку.

Не зная, чем наполнить свое время, Ганночка пошла посмотреть на крестный ход, проходивший неподалеку от их дома. С ней, как и всегда, отправилась проводить ее и присмотреть за нею, как бы кто не обидел, ее старая, быстро одряхлевшая нянька.

Веселый летний день радостно отзывался в юной душе Ганночки. Солнце так ясно горело на небе, такие веселые его лучи лились на землю, что девушка не чувствовала обычной тоски. Давно она не была на людях, а теперь вокруг нее неумолчно гудела, волновалась

оживленная, празднично настроенная толпа. Звон колоколов мощной волной вливался в этот веселый шум. Ганночка слушала его и все веселее и веселее становилось у нее на сердце. Вот заблестели на солнце хоругви, слышались протяжные песнопения. Крестный ход надвигался все ближе и ближе. Толпа вокруг Ганночки заволновалась, загудела все сильнее, потом вдруг так стихла, как будто на огромной площади, которую пересекал крестный ход, никого не было.

— Царевич, — пронёсся тихий шепот, — вместо государя-царя за крестным ходом...

Ганночка вся обратилась в зрение. Она еще никогда не видала никого из царской семьи, и женское любопытство всецело овладело ею.

"Где же, где царевич? — спрашивала она самое себя. — Хотя бы глазком взглянуть на него, каков он таков?"

— Вон, вон он, государь наш батюшка, — словно угадывая мысли Ганночки, зашептал кто-то около нее. — Да какой же щупленький он! Будто и не добрый молодец, а красная девица, прости Господи! Где уж такому-то с вол-

ками Милославскими да голодными псами Нарышкиными будет управиться?..

— Сгрызут они его, — подхватил эту мысль сосед говорившего, — как пить дать, сгрызут... И не подавятся, ироды.

— Где, где царевич-то? — волнуясь, спросила Ганночка у соседа.

— Да вот видишь, боярышня, — последовал ответ, — вот тот, хорошенький-то...

Ганночка взглянула и обомлела. Совсем-совсем близко от нее был тот царственный юноша, на которого чары старой Аси указали ей, как на ее суженого.

Да, да, это — он, девушка узнала его. Тогда она видела призрак, теперь же пред ней был живой человек. Так вот ее суженый, вот кого приготовила ей судьба! Господи! Да он глядит, глядит на нее, на Ганночку!..

Девушка не выдержала внезапно овладевшего ею волнения; голова у нее закружилась, дыхание сперло, и она лишилась чувств...

Пришла в себя Ганночка уже дома. Около нее хлопотали, приводя ее в себя, мамка и ее горничная девка.

Старушка, заметив, что Ганночка очну-

лась, накинута была на нее с вопросами. Она не постигала, что случилось с ее питомицею; казалось, не произошло ничего такого, из-за чего девушка могла бы чувств лишиться. Но что ей могла ответить Ганночка? Она и сама не понимала, что довело ее до обморока; она только чувствовала, что ее сердце так и замирает, а неясные, но светлые грезы роem витают вокруг, будя в ней надежды на неведомое счастье...

Скоро после того мрачнее непроглядной зимней ночи вернулся домой и Семен Федорович. Он уже слышал про случай на крестном ходу, и кто-то даже сказал ему, что это его дочь упала в обморок при виде царевича. Поэтому, придя домой, он сейчас же призвал к себе ее мамку.

— Вот что, старая, — тоном приказания сказал он ей, — нужно Агашку вон из Москвы убрать, иначе худо будет. Вор Агадар-Ковранский, Васька, как волк, кругом бродит. Сам я видел, как он побоище устроил с поляками пана Разумянского. Здорово ему, негоднику, попало, да жаль, что мало. Так вот и приказываю я, чтобы в ночь вы все в Чернавск убра-

лись... Слышишь?

— Слышу, батюшка, — ответила мамка, — все по-твоему будет.

— То-то, ступай, собирайся!

Но не одного князя Агадар-Ковранского страшился старый Грушецкий.

"О-ох, — думал он, — сказывают, что сам царевич Агафью увидал. Вот в чем беда-то! Прознают о том Милославские, побоятся, что он Агашу супругою себе возьмет, и сживут ее раньше времени со света белого!"

XLIV

НА ЦАРСКОЙ ЧРЕДЕ

Мелкое личное дело чернавского воеводы скоро потонуло в налетевшем вихре таких дел, которые закружили все государство с неокрепшей еще на престоле династией Романовых.

Московскому царству грозила смута, и только уважение к дышавшему на ладан Тишайшему сдерживало бояр, в особенности Милославских, эту отчаянную свору гилевщиков и смутьянов, в беспредельном своеволии,

в их неудержимом стремлении к совершенно ненужным интригам и проискам.

Как ни "горазд тих" был великий государь царь Алексей Михайлович, а дворцовые интриганы все-таки не на шутку побаивались его. Они хорошо знали, что у этого кроткого человека под напускной мягкостью были скрыты такие "ежовые рукавицы", что даже им боязно было открыто супротивиться его царской воле: палачей в застенках и у Тишайшего было много, а леса вокруг Москвы на виселицы для грызшейся боярской клики стояло видимо-невидимо.

И сдерживались всякие смутьяны, рассчитывая, что свое они наверстают, когда после смерти "горазд тихого" царя станет на царство его болезненный, с дряблой душою, сын-наследник Федор Алексеевич.

А бедный царевич растерялся, когда ему волей-неволей пришлось заменить страждущего отца во всех его государственных делах. От природы он был сметлив и, присутствуя с отцом на суждениях по докладам бояр, царевич сумел приглядеться к механике царского дела. Он был достаточно образован и начи-

тан, чтобы суметь сделать верный вывод из того, что ему говорили, и подобрать наиболее подходящее решение, но врожденное безволие всегда давало себя знать.

Царевич, а впоследствии и царь, не мог не согласиться с тем, что ему подсказывали. Он никогда не был в состоянии поставить на своем, и в результате часто в один и тот же день, а иногда в один и тот же час, являлись совершенно противоречащие, уничтожавшие друг друга царские резолюции.

Это вносило и распаляло смуту. Каждый "на законном основании" делал то, что ему было угодно. Частенько выходили драки и потасовки между мелкими агентами высшей власти, приводившими по одному и тому же делу различные законы и не знавшими, как им иначе разрешить явное недоразумение. Приближенные к царю пользовались безволием Федора Алексеевича с грубой беззастенчивостью. Бывали случаи, что "царского великого жалованья" достаивались заведомые воры и тати, пытаные в застенках, иуды-предатели народные, а в то же время добрые и честные или ни за что ни про что попадали

в застенки, или ссылались в дальние города. Все это сеяло шуту; народ волновался, видя явную неправду. Разнуздавшиеся насильники-бояре бросались с царским войском "укрощать" его. Происходило избиение невинных. Развращалось стрелецкое войско: стрельцы, участвуя в экзекуциях за несовершенные на родом преступления, привыкали к своевольству, чувствовали, что они — сила, и среди стрелецких слобод уже зрело семя тех кровавых бунтов, которые вскоре потрясли неокрепшую еще Россию.

Тишайший царь-государь Алексей Михайлович скончался 30 января 1676 года, горько оплакиваемый народом и всеми, кто в его царстве был неподкупно честен. Те же, кто был безудержно своеволен, для кого великое государство было только "дойною коровою", кто грабеж народа ставил в доблесть, — те не плакали, а были веселы; для этих мерзких котов наступала широкая масленица.

И действительно сейчас же, как только успели похоронить Тишайшего, вокруг молодого царя началась неистовая вакханалия сильно разнузданного своевольства. Насиль-

ники и грабители Милославские, пред которыми их предшественники Стрешневы оказались "мальчишками и щенками" в деле всякого грабительства народа, неистовствовали вовсю. Не было такого грабительского дела, на которое они постыдились бы пойти.

Царь Федор любил своего брата Петрушу — огневого, хотя болезненного мальчика, а своевольствовавшие бояре заставили государя отослать Петра в Преображенское на житье, с приказом не появляться на Москве.

"Сват Сергеич", этот любимый покойным царем человек, осмелился после кончины Алексея Михайловича заикнуться о том, что покойный желал, чтобы ему, вместе с сыном Федором, наследовал и сын Петр. Матвеев только передал предсмертное желание царя и очутился под опалой в Пустозерске.

Охраняя возможность своевольничать и угнетать народ, Милославские заподозрили в ковах против себя духовного отца юного царя, безобидного попа Андрея Савинкова, и духовный сын упрятал его, по их настоянию, в Нижнеозерский монастырь. Даже одряхлевший в Ферапонтовом монастыре бывший пат-

риарх Никон, жертва интриг объединившихся Стрешневых и Милославских, казался последним опасным, и юный царь, по их настоянию, перевел его в Кирилло-Белозерский монастырь, что было равносильно чуть не убийству знаменитого государственного деятеля, сотрудника его отца. Всюду были видны следы губительного влияния Милославских. Они разжигали гили, вели народ с челобитными к царским палатам и тут приказывали стрелцам уничтожать людей, не замышлявших ничего дурного. Волнение разрасталось, день ото дня увеличивалось недовольство молодым царем. Да и немудрено: ведь все преступления бояр совершались от его царского имени.

Бедный одинокий царь вряд ли соображал это. Он верил тому, что ему нашептывали его мерзавцы-родственники, и отдавал приказы, не размышляя, какое впечатление произведут они на массы. Если бы только знал он, каково от таких его указов народу! Но он не знал этого, даже не думал, что его инициатива может иметь иные последствия, чем он предполагал.

Увлеченные своим могуществом, вернее — возможностью своеволия, Милославские, разогнав всех, кто был им страшен, все-таки проглядели, что года через три после восшествия на престол у юного царя появились друзья, верные, преданные, полюбившие его как человека, не искавшие у него ничего, а по своему желавшие добра и родной им стране, и родному их народу. Это были царский думский постельничий Иван Максимович Языков и стольник Алексей Тимофеевич Лихачев.

Это были пожилые, серьезные русские люди, с большим жизненным опытом и порядочною по тому времени образованностью. Языков был видным московским юристом: при царе Алексее Михайловиче он был первым судьей Большого дворца судного приказа, нечто вроде современного министра юстиции. Стольник Лихачев бывал с посольствами за рубежом и даже ездил в Италию к "флорентийскому дуку с государя-царя благодарностью". Это был русский патриот до мозга костей, из числа тех, которые выдвигают Сусаниных, тех, величавый образ которых создала чистая, как кристалл, фантазия народная.

Алексей Тимофеевич был историком, и у него было немало сочинений исторического характера, к сожалению ныне не сохранившихся.

Оба этих умных и честных человека, приблизившись к юному царю, незаметно, но быстро приобрели на него влияние. Они открыли ему глаза на то, что творилось вокруг него, но открыли умело, не наставляя и не поучая его, а заставляя его самого увидеть то зло, какое расплодилось вокруг него неистовые Милославские.

Мало-помалу влияние Языкова и Лихачева на царя все росло, а Милославские не замечали этого: вероятно царские дяди и не догадывались, что можно любить родную страну, а не грабить, как грабили и душили ее они.

Был и третий близкий человек у юного царя: все тот же постоянно тихий, скромный, державшийся всегда в стороне иезуит Кунцевич.

Теперь никто не узнал бы в нем прежнего отца Кунцевича. Иезуит носил московское платье, отпустил себе по-московски бороду и волосы. Словом, внешним видом он не напо-

минал бесстрашного воина черной рати Игнатия Лойолы, а казался заурядным москвичом, человеком, который не в состоянии и воду замутить.

Милославские его-то совсем просмотрели, лучше сказать, даже и не видели его.

Между тем отец Кунцевич был ближе всех к царю Федору. Их свидания происходили почти тайно. Бесшумно скользила темная фигура по тайным дворцовым переходам, проникала, вряд ли кем замеченная, в царскую горенку, где и затягивалась их долгая-долгая беседа.

Языков и Лихачев знали об этих посещениях, но никогда не препятствовали им. Отец Кунцевич незаметно успел очаровать их и привлечь на свою сторону, и они сами очень любили беседовать с умным, всесторонне образованным иезуитом.

Между тем в конце четвертого года своего царствования царю Федору несладко пришлось от своих "дядьев". Милославские решительно принялись за него, заставляя его жениться.

— Да что же это такое? — настаивали то

тот, то другой из них, налетев на юного царя. — Ведь ежели царь холостой, то добру от того не быть. Сколь еще времени престолу наследника законного ждать? Что и будет только, ежели нарышкинский выпороток на престол сядет? — стращали они царя ненавистным для них, но не для него, царевичем Петром. — Жениться тебе, государь, нужно и откладывать женитьбу не нужно. Нечего откладывать! Соберем невест, такие кралечки на примете есть, что так ты и растаешь, яко воск от лица огня!..

Но, сколько ни приставали дядья, царь в этом вопросе не уступал.

— Рано еще, — отвечал он, — поживу так! А что до невесты, царицы вашей будущей, так я и без смотрин себе супругу найду.

Дядья пытались выпрашивать, кто именно — избранница царского сердца, но юный царь упорно молчал. Знал он, где живет его лапушка, да сказать боялся. В этой боязни поддерживал его и отец Кунцевич, справедливо указывая на печальный пример Евфимии Всеволожской. И в самом деле, от Милославских всего можно было ожидать. Но вре-

мя все-таки шло, женитьба становилась уже необходимостью, долее тянуть было нельзя. Не знал Федор Алексеевич, как поступить ему тут; и опять к нему пришел на помощь его любимый советчик отец Кунцевич.

— Вызови, государь, чернавского воеводу, — присоветовал он, — как бы для твоего государева дела, да предупреди, что, может быть, назад в Чернавск он и не вернется, вот он и приедет тогда с дочкой своей...

Такой совет пришелся по душе юному царю. Он через отца Кунцевича знал многое о Ганночке, — знал о том, что она отказывается замуж идти, и жалобно замирало его сердце, когда он думал:

"Не из-за меня ли!"

XLV

ЖДАННЫЙ СВАТ

Разве только сердце подсказало бы юному Федору Алексеевичу, если бы он увидел Ганночку теперь, спустя четыре года, что эта пышная красавица — именно та девушка, почти девочка, только что распускаявшаяся из подростка, которую он видел в памятный день крестного хода.

Ганночка дивно похорошела в эти быстро промелькнувшие годы. Не одно мужское сердце сохло по ней, да и старик Грушецкий был без ума от красавицы-дочери. Одно печалило и сушило его: много славных и богатых людей сваталось за его дочку, но она наотрез отказывалась идти замуж. Семен Федорович голову терял в догадках, с чего бы это, однако, не настаивал. Дочь он растил не по-московски, а свободно, не стесняя ее девичьей воли. Он всегда оберегал ее от всяких бед и, если бы избранник Ганночки вдруг оказался недостойным ее, Семен Федорович, вернее всего, не дал бы своего благословения, но в том, что

"девка подрасти хочет", он ничего особенного не видел: старик был уверен, что его ненаглядная дочка вековушей-перестарком не останется.

— Ой, милая, — иногда попутивал он Ганночку, — будешь разборчива не в меру, как бы вековушей тебе не остаться? Бывает с вами, девками, это.

— Не бойся, батюшка, не останусь, — бойко и задорно отвечала Ганночка, — придет, родимый, и мне черед...

— Ой, девка, — покачивал головою старик, — ждешь ты кого-то, вижу я это.

— Жду, батюшка...

— А кого? Которого короля или пана?

Ганночка смеялась в ответ, кидалась на шею отцу, душила его в своих объятиях и тихо шептала ему на ухо:

— Уж такой-то мой суженый-ряженный, что ты, батюшка родимый, ахнешь, когда про него узнаешь!..

Старика эти постоянные ответы дочери приводили в удивление.

"Ну, уж и народ пошел! — думал он, раскидывая мыслями о том, кого это готовит ему в

зятя его дочка. — Ведь вот и девки, а на все сами лезут. Нет того, чтобы, как прежде, отцы их замужеством располагали да мужей им выбирали... О-ох, отживают старики свой век!"

Сколько он ни ломал головы над мучившим его вопросом о замужестве дочери, — ответа все не было. Не было даже малейших указаний, кого наметила себе в мужья красавица Ганночка.

Иногда он вспоминал об Агадар-Ковранском, но о последнем не было ни слуха, ни духа: он словно в воду канул после того, как подрался при встрече в Москве с паном Мартыном Разумянским, и, где он был, что с ним, — никто не знал. Семен Федорович даже подсылал своих людишек в его лесное поместье к старушке Марье Ильинишне, но и там ничего не знали о князе Василии. Впрочем, там не особенно беспокоились, так как хотя и не частые, но зато долгие, длившиеся годами, отлучки князя бывали и ранее.

Один только раз мелькнула у старого Грушецкого надежда на то, что его любимица-дочь покончит со своим девичеством...

Пан Мартын Разумянский заслал было свата, вернее — посла, который прежде всего должен был разведать, как принято было бы его сватовство. Партия была и подходящая, и желательная для Грушецкого. Ему, потомку польского выходца, не противна была "крыжацкая вера", да и сама Ганночка как будто серьезно отнеслась к этому брачному проекту.

Но тут, будто прознав о сватовстве, вдруг явился в Чернавск отец Кунцевич. Он нередко наезжал к воеводе, и дружба между ним и Семеном Федоровичем поддерживалась по-прежнему добрая. Конечно старый Грушецкий поспешил высказать иезуиту свои мысли о возможном и желательном союзе.

— Так уславливается, — рассказывал он: — пусть они здесь повенчаются по нашему обряду, а как уедут в Польшу, на них моя воля кончается; тогда пусть дочь, ежели пожелает, в вашу крыжацкую веру идет. Я погляжу, погляжу, да и сам за рубеж отъеду. Делать мне здесь нечего. Видно службишка моя и молодому царю не нужна, как и его батюшке, царство ему небесное, вечный покой!

Отец Кунцевич, слушая это, головою покачивал.

— Не делай этого, воевода, — серьезно ответил он, — веры все одинаковы, кто в какой родился, тот в ней и оставайся. Да притом же, кто кроме Господа будущее знает? Вон царь молодой жениться хочет, собирать невест будет. Или тебе царским тестем стать не охота?

— Куда уж нам? — махнул рукою Грушецкий, а у самого словно маслом душу полили.

Ганночка тоже беседовала с иезуитом, о чем именно, старик не знал, но после этой беседы она наотрез отказалась от замужества с Разумянским, и подосланный разведчик уехал из Чернавска ни с чем...

Снова потянулся день за днем; снова беспокойство о судьбе дочери-упрямицы мучило состарившегося воеводу.

Вдруг в Чернавск прибыл из Москвы царский посланец, да не простой какой-нибудь, каких обыкновенно посылали, а сам думский стольник Алексей Тимофеевич Лихачев, ближний к царю боярин, свой человек в его покоях.

С великой честью постарался встретить

его чернавский воевода. Ему никогда столь близко и быть не приходилось от царедворцев, а тут — накось! — этакая особа у него в хоромаш очутилась.

Алексей Тимофеевич держался важно, но был ласков. Грушецкий и думать не знал, что это может значить. Он смекал, что не спроста явился боярин, но спрашивать не осмеливался и с замиранием сердца ждал, что скажет ему царский посланец.

А тот медлил и в конце концов старик заметил, что слишком уж пристально приглядывается боярин к его Ганночке, и не всегда пристойно приглядывается, как будто мысленно проникает своим взором во все, что ее наряды скрывали от взгляда мужского.

Такое разглядывание несколько оскорбляло старика Грушецкого, но делать было нечего: слишком уж высоко поставлен был думский стольник Лихачев, чтобы смел на него обижаться какой-то захолустный воевода.

Несколько дней Лихачев молчал о цели своего приезда; но наконец настал такой момент, когда важный царедворец, многозначительно крякнув и лукаво подмигнув Семену

Федоровичу, произнес давно жданное:

— А ну, воевода, поговорим по душам!

Грушецкий даже побледнел от волнения, когда услышал эти слова. Он понял, что их разговор будет весьма серьезным. Лихачев потребовал, чтобы ни одна живая душа не слыхала, о чем они будут беседовать.

— Так вот что, воевода, — заговорил первым боярин Лихачев и тон его голоса стал весьма серьезен: — поди, смекнул уж ты, что не спроста я к тебе в Чернавск припожаловал.

— Думалось мне о том, боярин дорогой, — простодушно ответил Грушецкий, — невдомек мне только было, какое у тебя столь важное дело ко мне случилось...

— А вот послушай какое. А насчет твоего смирения так это хорошо. В Писании сказано: последние да будут первыми. Нужно тебе на Москву собираться.

— А зачем, милостивец? — воскликнул Грушецкий. — Что мне там делать, если служба моя государю царю не нужна?

— Постой, не пой! Говорю, что нужно, так нужно. Ну, не буду обходами лясить. Только пока молчок обо всем, что скажу, не то все де-

ло попортишь. Ведь злых людей в наши времена много. Так, о чем бишь я? Да, на Москву тебе надобно, и не одному: дочку вези с собою! Счастье великое вам, Грушецким, привалило: восхотел великий государь твою Агафью в супруги для себя взять!

Когда прежде мечтал об этом самом Семене Федоровиче, то у него слюнки от счастья текли и душа восторгом наполнялась, а теперь, когда мечты наяву сбывались, он до крайности испугался.

— Да за что же мне такое-то? — воскликнул он. Алексей Тимофеевич засмеялся и спросил:

— Или не любо? Брось, воевода, не при-творствуй! Коли счастье привалило, хватай его. Ну, да любо или не любо, твое дело, но воли твоей в том нет. Приедешь в Москву, будто по царскому вызову о здешней службе, а там сейчас твою Агафью в терема возьмут, будет она сказана царской невестой и станут ее готовить к брачному венцу.

— Как Рафову дочку! — невольно вырвалось восклицание у Грушецкого, вспомнившего печальную участь Евфимии Всеволож-

ской.

Лихачев заметно нахмурился.

— Брось скулить! — с досадой произнес он. — Тогда одно было, теперь другое. Под особой охраной дочь твоя будет: сам я да думский стольник Иван Максимов, сын Языков, беречь ее будем. Ты только сам пока не болтай, а то пожалуй Евфимьину участь и в самом деле накликаешь. Ну вот, сказал я тебе, что надобно. А свадьбу скрутим живо; враги-нахвалящики и глазом не моргнут, опомниться не успеют, как станет твоя дочь над ними царицею, а тогда им ничего не поделывать...

— Так ты, боярин, царским сватом что ли приехал?

— Сватом не сватом, а одни лишь вороны прямо летают, — уклонился от прямого ответа Алексей Тимофеевич. — Ну, коли сказ кончен, так и ко щам идти надобно, у тебя их вкусно готовят...

Как сонный, повел Семен Федорович посланца-свата в столовую; в глазах у него стлался туман, мозг так и зудила неотвязная мысль:

"А что, если и теперь Ганночка заупрямится?"

Но этого не случилось, и сильно удивлен был этим Грушецкий.

Вопреки приказу боярина Лихачева, он в тот же день рассказал дочери, в чем дело и какую участь приготовила ей судьба. Так и вспыхивало лицо девушки, когда она слушала отца, глаза блестели, а высокая грудь так ходуном и ходила. Вдруг она кинулась на шею отцу, прижалась к его широкой груди и сквозь слезы залепетала, чего Семен Федорович и ожидать никак не мог:

— Батюшка дорогой! Да ведь Феденька-то мой и есть тот самый суженый и ряженный, о коем я тебе столь много раз говорила.

Тут уже старик от изумления руками развел и только и нашел, что сказать:

— Ну и девки же ноне пошли! Сами себе женихов добывать начали! Последние времена пред антихристовым в мир пришествием!

Как чудную сказку слушал он, что дальше рассказывала ему дочь. А она не скупилась на подробности. Повела она батюшке, что нагадала ей старая ведьма Ася в ту ночь, когда

она пришла к ней в погреб в доме Агадар-Ковранского, рассказала, что и в обморок-то она упала при крестном ходе только потому, что узнала в юном царевиче-наследнике своего суженого-ряженого. Полюбился он ей, и ждала она его все эти годы, а ее любовь родилась из жалости.

— Уж больно он несчастненький с вида, — сказала Ганночка в порыве откровенности, — что былиночка придорожная: какой ветер пахнет, туда и клонится. За худобу да убожество полюбила я его, и знала я, сердцем чувствовала, что придет он за мной, соколик любый!

Девушка с такою спешностью и оживлением принялась за сборы, что Лихачев, подмечавший все это, однажды с добродушною, но грубою усмешкою сказал Семену Федоровичу:

— Ишь, воевода, как у тебя девка-то засиделась! Видно невоготу стало, так приспичило, что и дождаться честного венца не может.

Все свершилось по плану Лихачева. Он сам сопровождал Грушецких в столицу, а там сейчас же Ганночку взяли в терема, как царскую невесту.

Сильно всполошились царские дядья Мирославские, прознав об этом. У них была своя кандидатка в супруги Федору Алексеевичу, и вдруг выходило совсем не так, как они надумали. Их добыча-царь выскальзывала из их цепких рук; интриги не помогали, царь даже и слушать не хотел своих недавних советчиков.

XLVI

ИСПОЛНИВШЕЕСЯ ГАДАНЬЕ

Счастливые дни переживал Федор Алексеевич. Сразу для него наступили дни радостной весны.

Был апрель. Пышно разворачивалась воскресавшая после зимы природа; всюду был дивный праздник воскресения. И в душе царя тоже был праздник воскресения любви.

Да, юный царь Федор Алексеевич любил, любил, как любят только один раз в жизни. Страсть уже родилась в его сердце из любви.

Прежние дедовские порядки уже давно были поколеблены. Обычай соблюдались лишь внешне, московские люди во многом жили

по-новому, "по-иноземному", как тогда говорили. Порядки Кукуевской слободы были у всех на глазах, жизнь москвичей быстро менялась; хотя старые устои как будто и оставались, но люди старались не замечать, что они уже подточены мощно врывающимися в жизнь новшествами и должны были рухнуть, унося с собою в бездну забвения весь старый бытовой строй.

Затворничество женщин существовало только по названию. Московские дамы того времени и флиртовали и блудили не менее западных женщин. Сохранялось внешнее ханжество и затворничество, а на самом деле под этой маской скрывалась самая разнузданная свобода. Словом, всюду так и веяла все сильнее и сильнее новая жизнь.

Царь также воспользовался такой свободой. В один из прелестных весенних дней он навестил свою невесту, которую до того близко видел всего лишь раз в жизни.

Не как царь-повелитель всемогущий явился к своей невесте Федор Алексеевич, а как трепещущий влюбленный, для которого во всем мире одно только солнце, одно боже-

ство, одно счастье — его возлюбленная...

Войдя в покои невесты, он остановился, как вкопанный, и даже зажмурился слегка, словно яркое солнце вдруг ударило ему в глаза.

Неземным существом показалась ему невеста. И сама Ганночка была чудно-красива, а грезы, все эти годы распалывшие царское сердце, придавали ей еще более красоты в глазах царя.

Несколько времени влюбленные смущенно молчали.

— Агаша, милая, — чуть слышно проговорил Федор Алексеевич, — так ты вот какая!

В этих словах, в тоне их слышался неопи-сываемый восторг, и Ганночка женским чутьем поняла его.

— Какой Бог уродил, государь, такая я и есть, — потупляясь, кокетливо проговорила она, — не нравлюсь ежели, отпусти меня к родителю!

Она так говорила, а сердце, трепеща, словно шептало ей:

"С чего ты? Ведь знаешь, что любя ты ему, пуще всего на свете любя. Чего даром сушишь

добрého молодца!"

Федор даже вскрикнул, когда услышал слова Ганночки.

— Бог с тобой, разлапушка ненаглядная! — воскликнул он, подходя к молодой девушке и беря ее за руки. — Ты ли не люба мне! Грех это сказать тебе было бы, если бы ты мне в душу взглянуть могла. С того самого дня — помнишь крестный ход? — неотстанно все о тебе думаю. Как увидел я тебя, так словно разума лишился. Только ты одна пред глазами моими была, во сне мне виделась, на святой молитве чудилась... Ты, только ты! Как ты люба мне, я сказать словами не могу...

Он глядел, любуясь Ганночкой, в ее голубые очи, весь трепетал, как будто лихорадка вдруг приключилась у него; его так и тянуло непреодолимой силой к этой чудной красавице, но в то же время врожденная дряблость отталкивала его прочь, душила его мужскую смелость, и вместо страстных жгучих поцелуев царь чувствовал, как слезы подступают к его горлу.

— Сядем, милая, — с трудом выговорил он, — обо многом нам с тобою поговорить

нужно.

— Поговорим, государь! — покорно согласилась Ганночка. — Такое мы с тобой дело затеяли, что без разговора нам никак невозможно.

Они сели рядышком, не разнимая рук.

— Спрашивай, государь, — предложила Ганночка, — и верь тому, что таиться от тебя я не стану. Все выложу, что на душе есть. Спрашивай же!

Федор Алексеевич смущенно мялся, не знал, с чего начать разговор.

— Правда твоя, — наконец заговорил он, — такое дело, как мы затеяли, без разговора вершить нельзя, и, прежде чем повершить его, нужно, чтобы наши души были друг другу известны, как на ладони, а то и лада между нами не будет николи. Так вот какой тебе спрос от меня будет; отвечай, не таись и ничего не бойся! Неволею или волею ты за меня идешь? Люб я тебе или не люб?

— Кабы не люб ты мне был, Федор, — серьезно ответила Ганночка, — так не была бы я здесь вовеки. Никто моей воли в этом деле не снимал; на рубеже я росла, всегда воль-

ная; если б не люб ты мне был и силком меня к тебе потащили, так на своей косе задавилась бы я, а все-таки тебе меня как ушей своих не видать бы. Вот тебе каков мой сказ на спрос твой!

Глаза молодого царя загорелись.

— А тебе от меня такой сказ будет, — чуть не закричал он. — С той самой поры, как увидел я тебя, полюбилась ты мне... пуще света белого, пуще солнца красного, пуще жизни земной полюбилась. Говорю тебе: сном я засыпаю — ты мне, любезная, мерещишься, будто живая, предо мною стоишь. Не посылал я столько времени за тобою потому, что боялся, как бы вороги тебя со света не сжили. Ой, сколь много зла около нас с тобою, Агашенька, будет... Болото трясинное! А я, видишь, какой? И телом слабый, да и душа у меня совсем не царская. Кабы мне можно было с престола уйти, ушел бы я. Взял бы тебя и ушел бы, куда глаза глядят, только бы от всяческого здешнего зла, да распрей, да грызни подале быть. Тяжко мне, Агашенька, тяжело на великой царской чреде! Один я, никто меня не пожалует, никто в душу мне не посмотрит!.. Сест-

ры, что чужие, убожеством меня корят, дядья и братья двоюродные — кровопийцы, изверги, своевольники; мачеху с братом и сестрами я по их воле выгнал, а я зла от нее не видывал. Всех, кто любил да жалел меня, я по дальним городам под опалу разогнал и остался один, как олень загнанный, среди волчьей стаи людей. Теперь ежели ты мне жить да царствовать не поможешь, так хоть со света мне долой...

Голос молодого царя перешел в надрывистый крик; горе, обиды, постоянно затаиваемые, так и рвались теперь наружу. И вдруг Федор Алексеевич почувствовал, как две нежные, теплые руки обвили его шею, и теплота молодого женского тела обожгла его.словно палящий огонь влил в него жгучий поцелуй, первый поцелуй женщины в его жизни!

— Милый, желанный, — слышался ему шепот, — ведь и ты мне грезился постоянно, тебя я ждала все эти годы!.. Какой ни на есть ты, а люб ты мне, как я тебе. И буду я тебе другом из верных верным. Сильна я и духом, и телом; всех наших врагов мы сокрушим и будет нами народ православный вовеки доволен!

Юному несчастному царю казалось, что он уже не на земле, а высоко-высоко — на седьмом небе; страстные поцелуи пепелили его, кровь бурлила и кипела, дух мутился, дыхание спиралось.

"Так вот она какова, любовь-то! — металась в его голове огненная мысль. — Вот он, бог-то, страдать заставляющий. И взаправду за такое страдание умереть не жалко".

Еще никогда не изведенное чувство опьяняло юного царя. Роскошное молодое женское тело разливало в нем теплоту жизни. Он слышал и чувствовал, как около его сердца бьется другое сердце, и опьяненный забывал все, весь мир, самого себя, в тумане своей первой любви.

А кругом влюбленных мутилась скверная боярская грязца, стущались тучи клеветы, змеились двуногие ядовитые змеи в горлатных шапках, но пока еще не жалили, а только шипели, чувствуя, что бессильны со всеми своими замыслами. Любовь пока побеждала зло.

Ганночка в семье царя одерживала победу за победой; как-то совсем незаметно она ста-

ла большой приятельницею с сестрами царя; даже богатырше-царевне Софье она по сердцу пришлась, хотя вызвала у этой неукротимой девушки весьма своеобразную характеристику.

— Хороша девка, слов нет, — отозвалась как-то с обычной грубоватой прямою Софья Алексеевна, — и рожей, и кожей взяла, и умом крепка: впрямь умница-разумница. Она у нас царем-то будет, а слюнтяй Федька-брат при ней царицей. Вот помяните мое слово: не он ее, а она его в баню поведет!

На такой отзыв царевны, которая и сама была умницею-разумницею, можно было вполне положиться. Софья по-своему очень любила своего хилого брата, но все-таки не могла простить ему случайное вмешательство в ее сердечные дела. Она не поняла, какой порыв толкнул его на это, не знала, что он сам тогда весь горел жаждою любви, и думала, что он хочет разлучить ее с ее свет-Васенькой, в котором она с каждым днем все более и более души не чаяла.

Наскоро приглядевшись к невесте брата, она стала по-своему благоволить ей и мощно

сдерживала интриганов Милославских от всякого поползновения устранить Ганночку.

Наконец, одна маленькая капелька заставила выплеснуться наружу океаны боярской грязи: Ганночка посетила опальную царицу Наталью Кирилловну. В этом случае она оставила дело умно: сами царевны-сестры посоветовали ей посетить вдову Тишайшего; но Милославских это как холодной водой обдало, и Ганночка сразу приобрела себе в них заклятых злейших врагов, от которых ей не приходилось ждать пощады.

— Нарышкиница лупоглазая! — говорили потайно царские дядья, строя планы, как устранить прочь девушку. — Ишь, какой прыщ вскочил неожиданно-негаданно! Засапожный бы ей нож в бок...

— И не пристало ей на московском престоле сидеть, — злобно высказался Дмитрий Милославский, — польского она порождения. Что и будет, ежели царица-полячка над православными воссядет? И так всякого разврата у нас много развелось, совсем в упадке древнее отеческое благочестие, а тут еще всякие новшества пойдут: понеделники, среды и

пятницы соблюдать перестанет народ, с женами в баню ходить не будут... Последние времена пред светопреставлением!

— А то еще возьмет царица-то полячка да антихриста породит, — разжигал брата младший Милославский.

— Верно, — ответил тот. — Нужно будет о сем на базарных площадях да в стрелецких слободах и в царевых кружалах слух пустить, а ежели это не подействует, так другое у меня на примете есть. Как ни вертись полячка оглашенная, а от своей судьбы не уйти ей. Не с того, так с этого бока свое получит...

Но любовь царя оберегали преданные ему Языков и Лихачев.

Устроено было так, что, вопреки обычаю, Федор Алексеевич был скороспело обвенчан с Агафьей Семеновной 9 апреля 1680 года. На русский престол воссела царица-полячка, и православный народ радостно принял ее.

XLVII

БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ

Сразу повеяло новым духом над Москвою и Снад Русью после женитьбы царя Федора Алексеевича.

Чуток народ православный, умеет разбираться он в том, кто ему — друзья, кто — враги. Понял он, что молодую царицу Бог ему послал в ограждение от всяких врагов-нахвальщиков да лютых бояр, грабителей и угнетателей.

Ганночку, или теперь уже царицу Агафью Семеновну, все в Москве полюбили, а по ней полюбили царя. Недовольство последним стало уменьшаться в народе, тем более, что все Милославские притихли, и если грызлись, то только со своими врагами Нарышкиными, которые тоже по большей части попритихли. Это успокоение враждовавших бояр и их приспешников народ приписывал влиянию царицы на своего царственного супруга. Да, пожалуй, так и было. Слабовольный Федор Алексеевич всецело подпал под влияние сво-

ей супруги, и права оказалась царевна-богатырша Софья Алексеевна, когда сказала, что царем будет Агафья, а Федор при ней — царицею. Однако царь Федор Алексеевич даже и не замечал, что жена возымела на него столь большое влияние. Если бы кто-либо со стороны сказал ему об этом, он не поверил бы. Умело действовала Агафья Семеновна. Она была истинной хозяйкой в государстве, но, любя своего слабого и хилого мужа, все-таки выдвигала его вперед; и выходило так, что действовал сам царь Федор, и это сильно возвышало его в глазах народа. Он был милосерд: ангельски чиста была его душа, и он действительно стремился сделать счастливым свой народ.

Но влияние разумной супруги сказывалось не в одном этом. В царских палатах завелись многие новшества, которые до того никому и во сне не снились. Многие придворные — и не легкомысленная молодежь, а важные пожилые бояре — стали свои бороды подстригать и табачным зельем в открытую дымить, а кое-кто из них и в короткополое немецкое платье нарядился. Князь же Голицын свой

дом совсем на зарубежную ногу поставил и жил не как русский боярин, а как пан-варшавяк какой-нибудь. И пиры у него шли по-заморскому, музыка роговая играла и пляски шли нерусские. На пирах боярские жены всегда присутствовали — и что уже совсем срамно было — так по примеру царевны Софьи Алексеевны и боярские дочери также показывались и по-заграничному веселились.

Все это бояре Милославские пробовали использовать против молодой царицы; они хотя и затихли, а своего дела не упускали.

— Полячка-царица всю святую отеческую веру кочерыжит, — неслоь по всем площадям из десятков и сотен уст людей, преданных этому боярскому роду. — Телячьей убойной царя кормит и под праздники с ним спит. Быть худу!.. Недаром звезда хвостатая по небу бродила!.. Вот она царицу-полячку на нас и намела.

Такие же толки распускались и в кружках стрелецких слобод, — но — странное дело! — они как будто и не трогали легко воспламеняющейся толпы. Еще недавно Милославским совсем легко удалось поднять буй-

ную гиль из-за сущих пустяков; эта гиль вырослась в крупный бунт, и даже сам царь тогда был в опасности. Но теперь, что ни говорили разосланные повсюду смутьяны, как ни подстрекали они народ, ничего из этого не выходило.

— Что ж, что она — полячка? — обыкновенно отвечали подстрекателям. — Ведь она и в церковь ходит, и Богу по-православному молится, и память покойного царя-батюшки почитает. Со всей родней царской она почтительна и угодлива, а своих никого в мироеды-бояре не тянет. Патриарх ею доволен и священство тоже. А ежели у нее что с мужем не так и не по Писанию, так это — их супружеское дело. Кто там знать может? У них в опочивальне ночью никто не бывает, так ежели они в грехе, то и они же в ответе.

Милославские злились без конца, но вскоре им стало ясно, что путем ложных клевет и всяческих подвохов им гиль против Ганночки не вызвать. Им приходилось искать нового средства.

— Что ж похвалялся-то? — как-то в минуту пылкого озлобления сказал Дмитрию Мило-

славскому его брат. — Помнишь, говорил ты, что у тебя какое-то верное средство есть? Ну, так вот, где оно? Давай его сюда! Упустишь время — назад не вернешь. Слышь ты, за Никона-пса полячка распинается, настраивает царя, чтобы он простил старого черта да на Москву вернул.

— Крепок старый пес! — сумрачно проговорил Дмитрий. — Другой бы давно у Кирилла Белозерского скопытился, а он ничего себе, недохнет. Заправду худо нам всем придется, ежели он на Москву возвратится! Народ-то за него, сметет он нас.

Заточенный титан, патриарх Никон, был по-прежнему страшен стае хищных дворняжек даже и в своем заточении.

О своем средстве Дмитрий Милославский промолчал на этот раз и продолжал упорно молчать еще несколько времени. Наконец он однажды позвал к себе брата, и когда тот явился, то увидал в столовом покое молодого, но страшно изможденного человека, видимо только что перенесшего долгое заключение в сырой темнице.

— Вот мое средство-то! — шепнул Дмитрий

брату. — Знаешь ли ты, кто это? Погляди, погляди, может, и припомнишь?

— А кто? — недоумевал младший Мило-славский. — По облику как будто и знакомый, а признать не могу. Ну-ка, кто?

— Ага, не признал!.. Да это — князь Василий Лукич Агадар-Ковранский, вот кто! Припомнил теперь? Я его ради нашего дела из узилища вытянул. Уж теперь-то мы с проклятой полячкой справимся. Не из таких князь Василий, чтоб обиды без отмщения оставлять.

— А, помню теперь... Его еще без вести пропавшим считали.

— Ну вот-вот, он самый. Пойдем скорей к нему.

Братья вошли в покой, где был их гость. Это был, действительно, князь Василий Лукич. Как страшно изменился он в эти годы!.. И узнать было бы нельзя в этом живом трупe бывшего мрачного красавца, отчаянного забияку, буяна, каких немного было на Москве.

С ним случилось ужасное, такое ужасное, что князь Василий и представить себе не мог, как все это произошло.

Когда молодой царевич-наследник дал ему лестное поручение во что бы то ни стало разыскать столь заинтересовавшую его девушку, князь Василий и ног под собой не чуял, спеша услужить царевичу. Лестно ему было исполнить поручение, которое поставило бы его в близость к наследнику престола, в близком будущем царю. Он не считал такого поручения трудным и был уверен, что не далее, как к вечеру принесет царевичу желанную весточку. Но судьба располагает людьми, и часто малые причины мешают исполнению великих замыслов. Спеша к тому месту, где произошел случай с царевичем, князь Агадар-Ковранский не разбирал, кто ему попадется навстречу. Он пошел пешком, рассчитывая, что так скорей доберется до места, и шел без разбора и толкал всех, кто мешал ему.

Вдруг ему попался какой-то высокий человек в нерусском одеянии.

Князь Василий и его толкнул довольно грубо, так что встречный даже пошатнулся.

— Ты чего, песья кровь, без толку тычешься? — раздался как будто знакомый Ага-

дар-Ковранскому голос. — Вот я тебя, лайдака, выучу! — И в тот же момент здоровенный сокрушительный удар по уху свалил его с ног.

В следующий момент князь Василий уже был на ногах и, хрипло ревя, как разъяренный зверь, выхватил из-за сапога нож и кинулся на обидчика. Однако удар, еще более сильный, чем первый, пришедшийся уже ниже виска, свалил его с ног и лишил чувств.

Когда через несколько времени князь Агдар-Ковранский очнулся, то он был уже крепко-накрепко связан, лучше сказать — весь обмотан веревками, и его куда-то везли в закрытом возке. Во рту его был кляп, так что он даже и мычать не мог. Но его уши оставались свободными и он ясно слышал, что вокруг него раздавалась польская речь. Однако и это не давало ему никаких объяснений.

Его куда-то привезли, закутали ему голову и понесли на руках. Несли долго. Князь Василий чувствовал, что вокруг него пахнет погребной гнилью и сыростью. Наконец он очутился в каком-то подземелье. Тут ему голову раскутали. Он увидел чужих, незнакомых людей, а среди них — коваля с молотком и цепя-

ми. Кричать он не мог даже тогда, когда его оковали цепью вокруг пояса и вокруг горла и концы цепи оказались заклепанными в железное кольцо, укрепленное в стене. Лишь тогда ему были развязаны руки и рот.

Из толпы выступил тот самый высокий человек, который побил его при встрече на улице. Князь Василий теперь узнал его. Это был тот самый литовец Руссов, которого он видел в свите пана Мартына Разумянского при встрече-поединке в придорожном поселке.

— Ты — пес смердящий, — заговорил громко Руссов, — и хотел укусить господина. Так тебе не следует на свободе гулять, а на цепи сидеть. Вот и посиди, пока на смилуется над тобой господин. Псу и житье псовое. Лай, сколько угодно, но, если твой лай надоест, ты будешь бит, а смотреть за тобой вот он будет! — и Руссов указал на выступившего вперед сумрачного богатыря-парня.

Князь Василий сейчас же узнал его и на душе у него стало неловко. Этим парнем был лесовик Петруха, мстивший ему за свою загубленную сестру.

Князь понял, что поручения царевича те-

перь ему не исполнить.

Более четырех лет просидел на цепи несчастный князь Василий. Только его титанически-могучее здоровье могло выдержать адские муки! Трудно и вообразить, как он не сошел с ума. Во всяком случае, это была месть более ужасная; чем смерть. Уже убийственно было само сознание того, что великая избавительница — смерть — не приходит, и нет никаких средств призвать ее с ее великою тайною.

Иногда в подвал спускался пан Мартын Разумянский. С изобретательностью "цивилизованного" человека, он всячески издевался над бессильным пленником и всегда заканчивал свои издевательства ударом плети, с которой приходил к несчастному князю.

Это было страшной, невыносимой пыткой, но князь Василий всегда переносил ее молча; зато, когда Разумянский уходил, и шум его шагов затихал, он разражался диким ревом и бился на своей цепи, как сумасшедший.

Удивляло его только то, что приставленный к нему стражем Петр вовсе не пользовался своим положением, чтобы мстить ему за

прошлые обиды, а был добр и ласков по отношению к нему. Никогда не вспоминал он о своей замученной сестре, а напротив того, всячески старался, конечно по-своему, облегчить пленнику его существование. Это было единственное существо, которое хорошо относилось к князю Василию в тяжелые для него годы. Обиженный князем Василием лесовик и спас его.

— Вот что, князь Василий Лукич, — как-то особенно внушительно сказал он ему однажды, — не может моя душа более терпеть, чтобы польское отродье православного терзало. Довольно тебе, как псу, на цепи сидеть!

— Избавь, освободи меня! — взмолился Василий Лукич. — Ничего для тебя не пожалею.

Петруха как-то особенно усмехнулся, а затем произнес:

— Сестры-то замученной все равно не вернешь мне. Да и не нужно мне никакого твоего награждения. Сестра мне, тобой замученная, почитай каждую ночь снится и все за тебя просит. И вот на ее просьбы я и склонился. Освобожу я тебя, благо время для того выпало припешное — нет наверху никого из поля-

ков. Удирай с цепи! Да, вот что. Поди, знаешь на Москве бояр Милославских? Так вот до-преж всего к ним лыжи наостри. Они тебя помнят и помочь тебе хотят. К ним и иди!

— А ты? — робко спросил князь Василий.

— Что я-то?

— Здесь останешься?

— Обо мне какая тебе забота? — снова мрачно усмехнулся Петруха. — Заботься о своей голове...

Он ушел, оставив князя Василия в смутном ожидании свободы.

Петруха исполнил все, что сказал. Спустя несколько дней он разбил цепи и, выведя князя, одел его с ног до головы вместо обветшавших лохмотьев в новое добытое им платье. Он сам проводил его до палат бояр Милославских и здесь сумрачно простился с ним.

— Не поминай меня лихом! — сказал он князю на прощанье. — Бог даст, больше не встретимся...

С этими словами Петр быстро отошел прочь, оставив князя Василия одного.

XLVIII

ПОД ВЛАСТЬЮ ЛЮБВИ

У Милославских князь Василий был встречен, как жданный гость. Братья, и в особенности на первых порах Дмитрий, окружили его всяческим уходом. Агадар-Ковранскому казалось, будто и они пришли в великое негодование, когда он рассказал им про свое ужасное заключение.

— Что и говорить, — сказал старший Милославский, — теперь полякам большая воля. В кабале у них московское государство; что хотят они, то и делают.

— Да с чего же это? — пробовал допытываться Агадар-Ковраиский, но Милославские уклонялись от ответа.

Одно только он и узнал от них, что нет более в живых царя Алексея Михайловича, и что царствует сын его Федор Алексеевич.

Теперь, когда он был свободен и от него отошла прежняя мука, в его сердце вскрылась прежняя рана; ему вспомнилась Ганночка и снова заклокотала в нем любовь и ревность.

— Где-то она, ласточка-касаточка моя, теперь? — вспоминал князь Василий про Ганночку. — Поди, замужем уже, счастлива и никогда не вспоминает меня. Да и то подумать: за что ей вспоминать-то меня? Малого слова меж нами по-сердцу сказано не было. Ну, что же, ежели мне счастья не суждено, пусть она, ненаглядная, будет счастлива во веки вечные!

Слезы подступили к горлу князя Василия, когда он подумал так; тихая, кроткая печаль нисходила в его душу.

Однако вдруг ревность, а вместе с нею и адски кипучая ненависть, насильно пробужденная извне, вспыхнула с прежней свирепой дикостью в душе князя Василия. Об этом постарались Милославские, решившие сделать князя орудием злобы против ненавистной им юной царицы Агафьи Семеновны!

Царские дядья узнали о заточенном русском князе от его тюремщика Петра. Сам перестрадавший свое горе и простивший его Петр уже давно хлопотал о том, как бы избавить от мук своего несчастного господина, и обратился с этим к тем, кого, по его мнению,

сильнее в Москве не было — к Милославским. Дмитрий Милославский, подробно расспросив Петра, быстро сообразил, что князь Василий Лукич может быть весьма полезен им, и тотчас заюлил пред добродушным Петрухой. Парень поверил и привел к Милославским польского пленника.

Теперь оба брата решили, что время им приступить к исполнению своих мрачных замыслов, и умело повели свое дело.

Они с яростью, вполне способной распалить воображение ревнивца, долго рассказывали князю Василию, как вышла замуж Ганночка (о ней они все, что им было нужно, узнали от Петра), так изобразили ему ее "измену", что прежний яростный гнев закипел в душе Агадар-Ковранского. Наконец князю Василию было сообщено, чьей супругой стала Агафья Семеновна, и этому ее замужеству был придан вид хищнического расчета, а никак не свободно проявившегося чувства.

— Эх, — воскликнул младший Милославский, — уж если бы со мною такое было, ни за что не стерпел бы я! Нож бы в бок этой змее подколодной всадил, хотя она и царица! По-

ди, теперь подсмеивается она над тобою, Васенька!

Во время этой беседы кубки с вином не сходили со стола. Князь Василий, давно не видавший вина, пил с остервенением и с каждым глотком становился все мрачнее и мрачнее.

— И все-то это дело устроил крыжацкий пан Кунцевич, — словно вскользь заметил Дмитрий Милославский. — Задумал он нашего царя и весь народ в свою веру перевести, вот и подставил государю в супруги полячку богопротивную...

— Он? — прерывая хозяина, вне себя от ярости, закричал князь Василий и так ударил кулаком по столу, что все кубки и бокалы запрыгали.

— Он, все он, — зашипел хозяин, — а теперь она, полячка проклятая, изменница твоя, поди, целует да милует муженька-царя, да над тем, кто из-за нее пострадал и сохнет, насмешается...

— Эх, — проговорил словно в раздумье Агадар-Ковранский, — ежели бы мне теперь нож отточенный, да подойти только поближе, уж

за все про все расплатился бы я...

— А за чем дело стало? Хорошему человеку в таком деле мы всегда помочь рады. Ножей много, не жаль этого добра, а о том, чтобы провести тебя, так для этого такой у нас человек есть, что прямо на окаянную полячку наведет, и делай с нею, что твоей душе будет угодно.

Сильно нетрезвый Агадар-Ковранский слушал эти речи и как-то особенно улыбался.

— Ну, чего же думаешь? — приставали к своему гостю оба Милославские. — Пойдешь? Идти, так иди...

— А ну вас, — словно от назойливых мух, отмахнулся от них князь Василий, — ежели так, ведите!

Нетвердо помнил князь Василий, что было дальше. Милославские не скупились на угощение. Вино было безмерно крепкое, голова же Агадар-Ковранского после заточения слабая. Словно туманной дымкой застлало все в его глазах. Смутно помнил князь Василий, что его куда-то везли, потом вели по каким-то темным переходам, и наконец он очутился в небольшом, ничем не освещенном покое.

— Вот и жди здесь, — шепнул ему чей-то голос, — в стене щелочка есть, как свет увидишь, загляни, полюбуйся на свою змею подколодную, на полячку окаянную...

Агадар-Ковранский остался один и прежде всего ощупал себя. За поясом у него торчал длинный нож.

— У-у, идола! — рассмеялся с чего-то он. — Аспиды и василиски. Какое дело задумали! Ладно, посмотрим, что я там еще увижу. Я уж за обиду разочтусь, над собой надсмехаться никому не дам...

Прошло еще немного времени.

Вдруг в темной стене засветился огонек. Бесшумно скользнул вперед князь Василий и припал к ней глазом. За стеною был ярко освещенный восковыми свечами покой, посреди него стол, накрытый на два прибора. Невдалеке от него, в глубоком кресле, сидела царица Агафья Семеновна. Она слегка задумалась, но ее лицо не отражало печали. Ясен и безобиден был ее взор. Агадар-Ковранский смотрел на нее, и слезы текли из его глаз. Он не замечал их; его душа всколыхнулась при виде этой чудной красоты. По округлости ста-

на царицы он понял, что скоро на свет Божий явится новая жизнь, и эта новая жизнь поднявшись и окрепнув, послужит на добро и на славу той православной Руси, которую угнетали они, Агадар-Ковранские, и грабили такие, как Милославские...

Отворилась одна из дверей покоя, и вошел сам царь Федор Алексеевич. Это был уже не прежний заморыш-юноша, хилый и чахлый; теперь он возмужал, был весел, румян. Безмятежное счастье укрепило его, пересоздало в славного русского доброго молодца...

Царица поднялась с кресла и, в силу своего положения несколько тяжело ступая, пошла навстречу к простиравшему ей объятия царю.

Дрожь пробежала по всему телу князя Василия, видевшего всю эту сцену. Подступившие к горлу слезы давили его. Не помня себя, он зарыдал и наобум кинулся к дверям из покоя.

Что было тогда в его сердце, князь Василий не соображал. На него словно опрокинулось что-то, но это "что-то" вовсе не было тяжелым, давящим, угнетающим, а напротив того, он чувствовал восторг и умиление при воспо-

минании о той мимолетной сцене, которой он был свидетелем. Но вдруг он остановился: ему пришло в голову, что он перепутал переходы и теперь ему не выйти из этих дворцовых тайников...

В самом деле, он оказался в незнакомом ему месте. Это был какой-то узел дворцового лабиринта. Переходы здесь скрещивались, расходились в разные стороны, и князь Василий положительно не знал, куда ему идти, как выбраться из этой ловушки, в которую он был, очевидно, умышленно заведен.

— Окаянные, — задыхаясь шептал он, — смекнул я теперь, в чем дело. На зло меня наталкивали, хотели, чтобы ее, ненаглядную мою, я погубил, а после того и сам бы попался. Да, нет, вот не вышло по-вашему!

Он радостно вскрикнул — один из переходов показался ему знакомым даже при слабом свете, кое-где мелькавшем в тайниках. Князь знал этот переход и уже не раз видел его. Это был проход в так называемые кельи царского учителя, Симеона Полоцкого. Бывая у него для встреч с Федором Алексеевичем, князь Василий а тех случаях, когда ему

приходилось дожидаться одному царевича, нередко выбирался из богатого помещения развеселого монаха-пииты и прокрадывался по коридорам то в ту, то в другую стороны. Бывал он и в этом переходе и теперь сразу же узнал узел лабиринта, откуда можно было пробраться чуть ли не в любое помещение дворца.

"Ну, и везет же мне! — подумал он. — Этого-то Милославские не сообразили, что мне ходы здесь известны. Ну, что ж, значит, судьба такая, не погибнуть мне. Ладно, попробуем! Авось инок Симеон за наваждение бесовское меня не примет".

Князь смело двинулся по знакомому переходу. Тут уже было значительно темнее, и Агадар-Ковранский старался идти так тихо, что его шагов совсем не было слышно. Вот и знакомая дверь роскошной кельи Симеона Полоцкого. Она была не прикрыта, и князю Василию достаточно было слегка толкнуть ее, чтобы попасть в знакомые покои. Но он не сделал этого. До него донесся говор голосов, и один из них показался ему знакомым. Несколько прислушавшись, Агадар-Ковран-

ский так и замер на месте: он узнал этот голос! В покое монаха-пииты был иезуит Кунцевич, которого князь все еще считал своим наилучшим другом. С ним был еще кто-то другой, и, только прислушавшись более внимательно, князь опять вспомнил этот второй голос. Он принадлежал Ивану Михайловичу Милославскому, царскому дяде.

— Ты уж, пан, — произнес Милославский, — как там хочешь, а на нас не сердись. Не по нутру нам эта царица-полячка. Осетил ты государя нашего, попустил на то Господь. Мы, его верноподданные, должны порадеть о его здоровье и избавить его от дьявольского наваждения...

— При чем же я-то тут, боярин? — будто удивляясь, произнес отец Кунцевич. — Моего старания тут ни к чему приложено не было...

— Ну, полно, говори там! — оборвал его Милославский. — Разве не ты ее Федору-то подсватал? Ведь мы тоже хоть и на Москве живем, а не лыком шиты!.. Не ты, что ли, князя Василия Лукича Агадар-Ковранского в погреба поляка Разумянского упрятал? Одного лишь ты боялся, что помешает он твоим за-

мыслам, а сам так змеєю в ангельскую душу юного нашего царя и забирался, невесту ему подыскивал. Эх, вы, клопы черные!

— Постой, боярин! — перебил его отец Кунцевич. — Что ты говоришь, того я не ведаю. Никогда я не боялся князя Василия. Весь он всегда в моих руках был и, что я указывал ему, то он лишь и делал. Государь же ваш сам увидал свою невесту и сам прельстился ею...

— А ты ему сказал, кто она такая и где ее разыскивать?

— Сказал, — бесстрастно согласился отец Кунцевич. — Отчего же не сказать-то? Нешто они — друг другу не пара? — Голос иезуита дрогнул как-то особенно, видимо его всего охватил порыв — страстный порыв восторга пред самим собой. И он вдруг заговорил с особенной пылкостью, заговорил не столько для своего единственного слушателя, сколько для самого себя: — Да-да! Разве не пара друг другу эти молодые люди? Сознайсь: я отдал их одного другому... Да, боярин, я сделал это, всех вас перехитрив. Но из этого великое благо произойти может — не для Польши моей, а для вашей же Московии.

— Ну, какое еще там благо? — буркнул Милославский. — Лаешь, сам не зная что, пес потрясучий!

Отец Кунцевич будто не слышал этого оскорбления, на которые никогда не были скупы Милославские, а прежним тоном воскликнул:

— Да-а, великое дело, великое дело! Большой народ погибает в кромешной тьме и уготован аду, преисподней, погибает и должен погибнуть, если только не просветится истинным светом и не воссоединится с великою римскою церковью, склонившись пред властью наместника Христа на земле. Об этом воссоединении и хлопочу я. Ради него и действовал я, ради него вырвал я Агадар-Ковранского из когтей смерти, когда он был болен, и держу его теперь в своей власти, как держат цепную собаку до того времени, когда ее нужно спустить на злого врага.

— Ой, смотри, не спустишь! — выкрикнул захохотав Милославский. — Не хвались заранее...

— Спущу, боярин, когда нужно будет, — твердо произнес иезуит. — Покорен мне

князь Василий во всем и жизнь отдаст по слову моему.

— Ан не отдам! — раздался выкрик, и обезумевший Агадар-Ковранский ворвался в покой, где происходила беседа.

Он был страшен. Вся та ярость, которую разожгли в нем Милославские, и которую успокоила было подсмотренная им идиллическая сцена в царской столовой, вдруг вспыхнула в этом легко воспламенявшемся человеке. Признание отца Кунцевича в том, что он сам отдал Ганночку другому, заставило князя позабыть всякое благоразумие. Не, помня себя, он очутился пред иезуитом, и его вид был таков, что даже Милославский отступил прочь в ужасе.

— Окаянные, окаянные! — вопил Агадар-Ковранский. — Что вы сделали оба? Вы оба, как коршуны, терзаете Русь несчастную, и не дорог вам ее народ, а оба смеете кричать, что о добре ее радеете.

— Ну, полно, полно! — попробовал остановить его Милославский. — Чего ты, князь, так разобиделся? Сделал ли дело свое удачно?

— Сделал, сделал, — словно в забытьи,

несколько раз выкрикнул князь Василий. — Да так сделал удачно, что никогда вам и во сне не снилось.

— Так вот теперь отмсти за себя! — указал Милославский на иезуита. — Ведь это он — всех твоих бед заводчик. Он тебя на столько времени в смрадный погреб посадил. Кабы не он, так женился бы ты на Агафье Семеновне и жил бы теперь припеваючи. Ну, что ж, вот и рассчитайся теперь, ежели случай выпадает.

Голова князя Василия закружилась. Он выхватил поясной нож и кинулся было на иезуита.

Однако тот давно уже поднялся с кресла и теперь стоял перед ним, бесстрастный, недвижимый, готовый к роковому удару.

— Ну, что ж, — произнес он, — убей, князь Василий, меня, который тебя от смерти спас! Ну, рази, что ли?!

Что-то звякнуло о пол. Это Агадар-Ковранский выпустил из рук нож.

— Не могу, не могу, — воскликнул он, закрывая лицо ладонями рук.

— Чего там не могу? А ты попробуй! — сильно толкнул его рукой Милославский, а

сам взметнул рукой.

В следующий же момент отец Кунцевич грузно рухнул на пол. Князь Василий Лукич вскрикнул, но Милославский, ухватив его за плечи, потащил к двери.

— Брось, не думай! — шептал он ему на ухо, — черная собака и без нас кончится. А теперь, ежели ты свое дело сделал, так обоим нам улепетывать надобно.

На другое утро в Большом дворце начался переполох. В покоях, которые занимал бывший учитель царя, Симеон Полоцкий, нашли зарезанного насмерть человека. Это был иезуит Кунцевич. Чья рука поразила его, так и осталось неизвестным.

Солнце счастья сияло над молодыми царем и царицею. Свое счастье они, светлые, любящие, распространяли вокруг себя. Но недолговечно счастье людское, всюду сторожит людей горе, крадется оно за ними и настигает тогда, когда менее всего ожидают его люди. Не долго оно светило и царю Федору Алексеевичу и его дорогой жене, Агафье Семеновне [4].

Примечания

1

Первая невеста царя Алексея Михайловича, избранная им, но внезапно до венца заболевшая.

[^^^]

2

"Сволочь" в то время не было бранным словом.

[^^^]

3

В 1590 году, прекратился род Милославских в 1791 году.

[^^^]

4

См. роман "Оберегатель".

[^^^]